

СИБИРИАДА

ОЛЕГ
СЛОБОДЧИКОВ



ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Сибиряда

Олег Слободчиков

Первопроходцы

«ВЕЧЕ»

2019

Слободчиков О. В.

Первопроходцы / О. В. Слободчиков — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8030-0

Дойти до конца «Великого Камня» – горного хребта, протянувшегося от Байкала до Камчатки и Анадыря, – было мечтой, целью и смыслом жизни отважных героев-первопроходцев. В отписках и челобитных грамотах XVII века они оставили свои незатейливые споры, догадки и размышления о том, что может быть на краю «Камня» и есть ли ему конец. На основе старинных документов автор пытается понять и донести до читателя, что же вело и манило людей, уходивших в неизвестное, нередко вопреки воле начальствующих, в надежде на удачу, подножный корм и милость Божью. И самое удивительное, что на якобы примитивных кочах, шитиках, карбазах и стругах они прошли путями, которые потом больше полутора веков не могли повторить самые прославленные мореходы мира на лучших судах того времени, при полном обеспечении и высоком жалованье. «Первопроходцы» – третий роман известного сибирского писателя Олега Слободчикова, представленный издательством «Вече», связанный с двумя предыдущими, «По прозвищу Пенда» и «Великий тес», одной темой, именами и судьбами героев, за одну человеческую жизнь прошедших огромную территорию от Иртыша до Тихого океана.

ISBN 978-5-4484-8030-0

© Слободчиков О. В., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

1. Мне отмщение и аз воздам	6
2. Кремлевский порядок	31
3. Великий Камень	50
4. Соперники	73
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Олег Васильевич Слободчиков

Первопроходцы

© Слободчиков О.В., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

1. Мне отмщение и аз воздам

Весна случилась ранней и такой жаркой, что, взламывая лед, запрудилась заторами, забуйствовала не достоявшая свой срок река Лена. Вода поднялась на пять саженой и подступила к воротам Ленского острожка. Уж в этом-то месте наводнения не ждали: выбирали его долго и осмотрительно, после того как поставленное сотником Бекетовым зимовье подмыло и свалило первым же паводком.

Но, поплескавшись у ворот с навешанной над ними караульной, вода стала спадать, оставляя на мокром песке берега топкий, липучий ил и весенний сор. Оголодавшие казаки поспешно поставили сеть в речной заводи. Едва заалели за дальними увалами первые лучи солнца, Пашка Левонтьев и Мишка Стадухин столкнули на воду берестянку, поплыли снимать улов. Но дело оказалось непростым. Пашка, с боярской важностью восседая на пятках, удерживал веслом верткую лодчонку, Мишка бросил под ноги полдюжины бьющихся рыбин и замычал, замотал головой, сунул за пазуху остуженные руки: сеть была забита травой, ветками и всяким сором.

Пашка невозмутимо взглянул на подвывавшего товарища, резким движением весла выровнял корму, чтобы Мишка мог тянуть к берегу полотно со всем уловом и сором. Выбирать ее как есть было небезопасно, от непомерной тяжести сети утлая берестянка могла черпнуть бортом и утонуть.

Круг солнца в цвет начищенной меди оторвался от увалов, вспыхнул желтизной, растекаясь по ясному небу и речной глади. Над сырым берегом замельтешило марево, застрекотала сорока, вздымаясь и опадая над лодкой, гулко застучали ставни и двери. Из острожной калитки вышел казак, высмотрел рыбаков на воде, припадая на ногу, заковылял к тому месту, куда выгребал Пашка. Берестянку мотало, забитая сором сеть цеплялась за дно. Мишка Стадухин то и дело совал за пазуху красные осклизлые ладони, отогревал дыханием немеющие пальцы, приглушенно ругал водяного дедушку.

Хромой казак, переминаясь, выждал, когда лодка подойдет ближе. Едва смог дотянуться до нее, согнулся коромыслом, схватил за нос, потянул, одышливо лопоча:

– Новый письменный голова Васька-то Поярков чего удумал! Отпускает Парфенку в Илимский!

Стадухин пытливо вскинул на него прируженные ломотой глаза. Казак закивал с блуждавшей в рыжеватой бороде улыбкой:

– Отпускает!.. И без досмотра! Неужто опять вывернется? – Дурашливо округлил смешливые синие глаза, будто с весельем души удивлялся верткости сослуживца. – От Пояркова откупится и воевод обманет!

– Не голова, башка баранья! – гневно выругался Мишка, забыв про остуженные руки, перекинул через тонкий борт ногу в промазанном дегтем бродне, встал на дно по колени в воде, неприязненно сунул сеть в руки, принесшему весть казаку и выскочил на берег.

В Ленском остроге было известно, что нынешний царь Михайла Федорович Романов наконец-то узнал о великих беспорядках на реке Лене и послал на свою дальнюю вотчину двух воевод в чинах царских стольников. Как положено кремлевским чинам, они двигались к месту службы только летом, вникали в дела Сибирской Украины, творили в пути суд и управу. Зимовали в Тобольском городе, нынешний год – в Енисейском остроге, теперь, по слухам, стояли в Илимском, отправляя вперед своих людей и прибранные в пути отряды. Их письменный голова сын боярский Василий Поярков прибыл в Ленский осенью и по сию пору принимал дела у сына боярского Парфена Ходырева, который после атамана Ивана Галкина два года сряду сидел здесь на приказе.

Казак Семейка Дежнев, принесший весть, с комом сети в руках неловко переступил на раненую ногу, по щиколотку утонувшую в вязком намытом иле, потянул спутанную сеть, бормоча с покривившейся улыбкой: «Ворон ворону глаз не выклюет!»

– На все воля Божья! – наставительно изрек Пашка, неспешно вылезая из лодки. Он распрямился в полный рост, снял шапку, обнажив красивую, ровную лысину, степенно поклонившись на засиявшее солнце, прочертил перстами ровный крест: со лба на живот, с плеча на плечо.

– Ну уж нет! – Мишка блеснул затравленными глазами, скакнул на месте со скрещенными на груди руками. – Под кнут лягу! «Государево слово и дело» объявлю, – заскрипел зубами, – но на этот раз Парфенка не отбредется. Вот вам крест! – Выпростав из-под мышки красную ладонь, сведенную в куриную щепоть, торопливо и небрежно перекрестился. – Не похристиански замалчивать грехи власти и потакать подлым.

– То он не объявлял против нас «слово и дело», – со смешком напомнил прошлое Дежнев.

Семейка хоть и знал вздорный нрав земляка-пинежца Мишки Стадухина, но, когда шел к реке с плохой вестью, думать не думал, что тот так взбесится. Глядя на его побагровевшее лицо, смущенно пожал плечами:

– А что? Васька Поярков всех отпускает. И Постника Губаря с ясачной казной, – опять невзначай уколол Стадухина.

Семейку пригнала в Сибирь безысходная бедность, приставшая к его роду еще при дедах. О богатстве и славе он не думал, уходил с отчины, надеясь заработать денег и поднять дом до достатка прожиточных соседей. Но и в Сибири он едва кормил себя поденными работами и нигде не мог зацепиться. В Тобольском городе дошел до такого отчаяния, что поверстался в службу на Енисей с половинным стрелецким жалованьем – лишь бы быть сытым. И с тех пор, как целовал Честной Крест во храме Святой Софии, носило его по разным острогам и зимовьям, будто святой покровитель пинал под зад: из Енисейского гарнизона ушел на Лену с сотником Бекетовым, с приказным сыном боярским Ходыревым гонялся за беглыми ясачными тойонами, ходил через горы на реку Яну с десятником Митькой Зыряном на перемену тамошнему служилому Постнику Губарю – и все в половинном окладе.

Следом за Постником Митька Зырян с отрядом вышел на Индигирку и отправил его, Семейку, с казаком Гришкой Фофановым – Простоквашей и с двумя промышленными людьми обратно в Ленский острог с ясачной казной и с выкупленной у тунгусов якутской девкой, дочерью ленского князца-тойона. В пути Семейка был ранен янскими тунгусами, пытавшимися пограбить малочисленную ватажку. Казну сохранил, а награды не выслужил, добытое в походе, и то потерял – так уж нелепо вязали ему судьбу незрячие девки Доля с Недолей.

Смененный Митькой Зыряном Постник Губарь вернулся на Лену богатым и знаменитым, дал Ходыреву поклон черными соболями, гулял, похваляясь удачным походом, посмеивался над Мишкой Стадухиным, который перед выходом на Яну ходыревской хитростью перемертвевший в другой отряд.

– Постник повезет ясак воеводам в Илимский острог! – монотонно бубнил Дежнев, вытягивая сеть. – Свой и зыряновский, который я привез. И Митьку Копылова с его людьми Васька Поярков освободил от сыска, отпускает на воеводский суд.

Стадухин исподлобья метнул на земляка разъяренный взгляд, сорвал с головы сермяжную шапку, выбил о колено и, выдергивая ноги из грязи, вороном заскакал к острогу.

– Дурная башка! – сочувственно посмотрел ему вслед Пашка Левонтьев, смахнул с лысины вялых после ночной стужи комаров, надел шапку и приказал Дежневу: – Помогай теперь разбирать сеть за земляка. Выбирай рыбу.

Ленский острог был небольшим укреплением, поставленным казаками под началом атамана Галкина: три избы, часовня, два амбара, крытые тесом, караульня над воротами. Стаду-

хин ворвался в съезжую избу, не стяхнув с бродней песка речной грязи, с перекошенным лицом бросился к столу письменного головы:

– Отпускаешь Парфенку, да? Говорят, без досмотра. А у него ворованных соболей и шуб без счета. Объявляю «государево слово и дело»! Я свидетель, как в позапрошлом году он подговаривал якутов убить копыловских служилых. Против него тогда восстали все казаки. Говорили: хочешь наказать томичей – убей сам, но не позволяй инородцам. И то, что нынешней зимой на Алдане перебито сорок казаков и промышленных, – тому он заводчик... На нем грех!

– А ты там был нынешней зимой? – ломая бровь, строго спросил тобольский казак Курбат Иванов, прибывший с Поярковым и случившийся тут же.

Стадухин не снизошел ни до ответа, ни до взгляда в его сторону, но пристально глядел на письменного. Рассеянная улыбка в его стриженной бороде даже не покривилась от гневных слов казака, только зеленоватые глаза, блеснув, стали холодными и блеклыми, как лед.

– Зачем же сразу «слово и дело»? – Письменный голова отодвинул по столешнице бумаги, почесал пером ухо. – Езжай на Ленский волок, скажи все царским воеводам Петру Петровичу Головину и Матвею Богдановичу Глебову. От них суд и управа.

Опешив от неожиданного предложения, не досказав, что накипело против Ходырева, Стадухин вперился в Пояркова изумленным и недоверчивым взглядом, растерянно задергались рыжие усы, выделявшиеся в русой бороде.

– С кем плыть? С Парфенкой?

– Хочешь – с ним или с атаманом Копыловым. – В глазах письменного головы блеснула скрытая насмешка, губы в стриженной бороде неприязненно покривились. – Можешь – с Постником Губарем: один разве к зиме до Куты доберешься. Да и небезопасно нынче. Отпускную грамоту тебе напишу, ступай с богом!

В добрых словах письменного головы что-то кольнуло Стадухина под сердце, и подумалось вдруг, что Ходырев и Поярков похожи друг на друга, как братья. «Земляки, наверное!»

Побуравив сына боярского остывающими глазами, он покряхтел, покашлял, побледнел и снова стал наливаясь густой краской. Не зная, что сказать, бросил презрительный взгляд на Курбата Иванова, пытавшегося встрять в разговор, развернулся, вышел с какой-то смутной догадкой.

Конечно, он не мог идти в одних отрядах ни с Ходыревым, против которого собирался объявить «государево слово и дело», ни с томским атаманом Копыловым, с которым воевал на Алдане. Но на Ленский волок собирался его старый товарищ казачий десятник Постник Иванов Губарь. С ним отчего бы не сходить, если приказный даст отпускную грамоту.

Желтый песчаный берег, освободившийся от опавшей воды, толстые, приземистые, безмерно сучковатые и кривые сосны вдали от реки. Прежний бечевник – тропа, которую проложили бурлаки прошлым летом, был смыт паводком вместе со станами и балаганами, завален плавником. Уже к полудню работные люди, нанятые приказчиками именитых купцов, меняли бахилы на сухие, промазанные дегтем, так как прежние размокали и висели на ступнях комьями липкой грязи. Ну, да Бог не без милости! Почти каждый день к полудню, а то и раньше, вздымая против течения резкие плещущие волны, начинал дуть пособный ветер. На стругах поднимали паруса, помогали им веслами, и они ходко шли против течения реки.

Горы подступали к берегам все ближе и тесней, становились выше и скалистей. Стадухин с шестом в руках вглядывался в трещины на отвесных скалах, видел очертания воинов с саблями и пиками, женщин и детей, бегущих от боя. По тунгусским поверьям, в каждой горе жил дух, иные из них, доброжелательные к людям, такими картинками на камне предсказывали будущее и предупреждали от опасностей. Михай высматривал знаки, загадывая исход своего поединка с Парфенкой, но глаза отмечали только невесть чего ради дравшихся воинов и женщин.

Кончалась короткая шаткая весна, подступало жаркое лето. День был долог, короткая ночь сумеречной, нетемной. Солнце ненадолго пряталось за увалы, покрытые низкорослой

лиственницей, и, будто натываясь там на колючий сухостойный лес, вскоре опять поднималось на небо. Река все круче поворачивала на закат.

Бурлацкий передовщик из первых промышленных людей, осевших на Лене, степенный и важный, с пышной бородой в пояс, каждый год водил суда на Куту. Он хорошо знал бечевник и вытребовал своим бурлакам плату вдвое против того, что сулили служилые Ходырева и Копылова. Торговые люди согласились, потому что спешили, Постник – потому что был богат. Работные, нанятые бурлацким передовщиком, днем и ночью тянули суда против течения, отсыпаясь во времена густых туманов и противных ветров. Казалось, они и останавливались только для того, чтобы наловить рыбы и заварить мучной каши – саламаты.

Стадухин в бурлацкую бечеву не впрягался, занимаясь более легким делом – стоял в струге на шесте и садился за весло, когда нужно было переправляться на другой берег или грести против течения. Постник, кичась богатством, добытым на дальней государственной службе, с неделю сидел на корме, обложившись шубами, напоказ отдыхал, с важностью поглядывал по сторонам, от путевого безделья маялся охотой поговорить, мучил Михея рассказами об Индигирке и Яне.

На другой неделе ему удалось купить у встречных торговых людей полведра горячего вина. Тут Губаря и вовсе разобрало. Прикладываясь к берестяной фляге, он похотывал, поддразнивал товарища, угрюмо работавшего шестом: знаю, мол, вас, пинежцев, ярых да завистливых.

– Скажу тебе, Мишка, прямо, ты – казак добрый, но только тогда, когда надо воевать. А для начального человека этого мало. Если он умный, – Постник слегка выпячивал грудь, показывая, кого имеет в виду, – то воевать и не надо вовсе: можно словом и лаской убедить диких мужиков идти под государя для их же пользы и ясак взять вдвое. Они же все хотят мира и порядка.

Посапывая и поклевывая носом, Губарь многоумно помолчал, со вздохами в другой раз приложился к фляге, крикнул, предложил Стадухину:

– Выпей!

– Не буду! Жарко!

– Вот ты отказался идти со мной на Яну, а я, грешным делом, даже обрадовался. А почему? А потому, что, когда ходили с тобой на Вилюй – кто был начальным? Я! Десятник Постник Иванов Губарь! – похлопал себя по опадающей груди. – Кто уговорил якутов, тунгусов и долган мириться? Опять я! А как стрельба началась, так Мишка всему голова... Это неправильно! – Икнул, по-гусиному выгибая шею.

Стадухин вина не пил, разве пару раз пригубил для виду. Подначки товарища до него не доходили – голова была занята другим. Пьяными откровениями Постник напомнил, как восемь лет назад сотник Бекетов отправил на Вилюй служилых и промышленных людей под началом Дружинки Чистякова, чтобы взяли ясак с тамошних якутов и тунгусов да с мангазейских промышленных людей, осевших в тех местах. Все они пропали. Михей вызвался идти искать с отрядом служилых и промышленных людей под началом казака-десятника Постника Губаря.

В тот год возле острожка на Лене собралось до сотни беглых енисейских и мангазейских казаков, гулящих и промышленных людей. Бекетов ломал голову, как их выпроводить куда подальше. И поплыли они одним караваном с Михеем и Постником вниз по Лене. С частью постниковского отряда прошли мимо устья Вилюя, зимовали в долганской земле, в Жиганах, срубив там зимовье.

На Вилюе люди Постника и Стадухина узнали, что пропавший отряд Дружинки Чистякова столкнулся с мангазейскими служилыми под началом Степана Корытова. Мангазейцы считали Вилюй своим уездом, имели наказную память от мангазейского воеводы и требовали отдать им собранный Дружинкой ясак. Енисейцы отказали. Тогда люди Корытова взяли на себя еще один ясак с тунгусов и якутов, а те в отместку убили двух их сборщиков. Разъяренные

мангазейцы напали на енисейцев, отобрали казну, струг, припас, пригрозили бросить их на пустом месте при восставших инородцах и, по слухам, вынудили плыть с ними на Алдан.

Постник Губарь с Михеем Стадухиным, узнав все это, замирили восставшие роды, поставили на Вилюе укрепленное частоколом зимовье, перезимовав, вернулись в Ленский острожек, не заходя в Жиганы. Здесь Михей узнал, что та самая толпа беглых, гулящих и промышленных людей, которая прошлой весной плыла стругами за его отрядом и зимовала в Жиганах, построила кочи, прислала к Бекетову выборных людей, они вытребовали у ленского приказного отпускную грамоту и поплыли в низовья Лены для прииска новых земель. Во главе отрядов заявили идти хорошо знакомые Стадухину беглые служилые: енисеец Илейка Перфильев и мангазеец Иван Ребров. С ними самовольно ушли люди из отряда Дружинки Чистякова и он сам.

Иван Ребров левой протокой ленского устья дошел до моря и открыл реку Оленек, прослужил там четыре года, затем проложил морской путь на Яну, а нынче был где-то на Собачьей реке. Илья Перфильев открыл реку Яну, впадающую в море по правую руку от устья Лены, объясачил тамошние народы, вернулся в Ленский острожек в собольих онучах, в двух шубах, с двадцатью сороками соболей и лис помимо государевой казны. А Мишка Стадухин в то же время бесславно воевал на Алдане с русскими людьми Степана Корытова.

Мангазейцы отбились и ушли бы с Лены, но сменивший Петра Бекетова атаман Иван Галкин собрал сорок служилых и промышленных людей. Среди них оказались братья Хабаровы, Семен Шелковников, пришедшие на Лену в самый разгар войны. Плечом к плечу все они бились в отряде десятника Семена Чуфариста. Мангазейцев разбили наголову. С обеих сторон было до десятка убитых. Степана Корытова пленили и за приставами повезли в Енисейский острог. Но мира, порядка и справедливости, ради чего была пролита русская кровь, Бог не дал. Зимой объединились отложившиеся якутские роды, загнали казаков в Ленский острог и держали в осаде два месяца.

Тем же летом служилые выпытали у промышленных людей слухи про юкагирскую землю. Для ее прииска атаман Галкин отпустил туда отличившихся в войне с мангазейцами десятников Устина Никитина и Семена Чуфариста со служилыми и промышленными людьми, дал казенный коч, снасти, отпускную грамоту и наказную память, но проводить отряд не успел. На перемену ему из Енисейского острога был прислан сын боярский Парфен Ходырев.

Сказывали казаки, что при сдаче острожка Иван Галкин назвал Ходырева овечьим сыном. Неприязнь между ними началась в давние времена, когда никому не известный Парфен в чине сына боярского прибыл в Енисейский острог с новым воеводой. Его отец из новгородских детей боярских по московскому списку забрел в Сибирь по бедности и служил до сносу, но ни за ним, ни за его сыном подвигов не было. Парфен же явился в Енисейский с жалованьем, равным жалованью известного по всей Сибири атамана Ивану Галкина. Казаки и стрельцы, узнав о такой несправедливости, взбунтовались. Воевода вынужден был пойти на уступки, уравнил жалованье Парфена с жалованьем других детей боярских. Тогда Ходырев самовольно ушел в Томский острог и вернулся оттуда в Енисейский опять без заслуг, но с прежним высоким жалованьем.

При сдаче Ленского острога атаман Галкин укорил сменщика, что тот служит языком, вылизывая зады воеводам и дьякам Сибирского приказа. Затаив на него злобу, Ходырев объявил «государево слово и дело» против десятников Никитина и Чуфариста с их казаками за убийство мангазейских служилых и промышленных людей. Обвиняемых за приставами возили в Енисейский острог, там атаман Галкин оправдался сам и помог оправдаться им. Но Ходырев как доносчик отвертелся от первого кнута и был всего лишь сменен на приказе через полгода. А отряд Чуфариста из-за его козней и сыска так и не ушел в юкагирскую землю. В нем числился Мишка Стадухин.

Это была не первая из неудач, преследовавших его на ленской службе, и не последняя по вине Парфена Ходырева. Как-то спокойно и презрительно, с затаенной усмешкой, сын боярский раз за разом обманывал Михея, будь казак в ярости или спокоен. От бессилия против хитроумия приказного ненавидел его Стадухин так, что убил бы, будь тот какой-нибудь нерусью. Нос репкой, морда круглая, борода редкая, глаза с лисьей раскосинкой. Завидев его, Михей багровел, а Ходырев знай себе посмеивался, чем пуще прежнего озлоблял казака. Задним умом Михей понимал, что в ленских неудачах виноват не только Ходырев: портила жизнь какая-то нечисть, а Бог, по грехам, попускал, но, как водится, во всех несчастьях винил Ходырева.

Четыре года назад, опять при атамане Галкине, который вернулся на приказ в Ленский острог, Михей Стадухин с отрядом был отправлен на Виллой разбирать жалобы якутов на тунгусов и зимовал там. В то время неожиданно-негаданно Постник Губарь с отрядом служилых и промышленных людей своим подъемом купил коней, хлебный припас, перевалил Янский хребет и открыл верховья Яны, куда прежде не добирались служилые люди. Объявился Постник на Лене через два года с богатым ясаком, привез слухи о неведомой земле к восходу и о серебре, оплатил долги, стал собираться в новый поход.

Ушел бы с ним Мишка Стадухин, но в тот год на смену атаману Ивану Галкину, торжественно посмеиваясь, опять явился Парфен Ходырев, по всем приметам, в огне не горевший, в дерьме не тонувший. Галкин прилюдно спросил его, чисто ли вылизал зад новому енисейскому воеводе? На этот раз Ходырев посмеялся со всеми вместе, никак не ответив на обидные слова, и Стадухин сдуру решил, что он покался.

Если бы Парфен стал отговаривать его от похода с Постником, он бы его не послушал и ушел самовольно, но Ходырев лишь мимоходом обронил:

– Зачем тебе, старому казаку, Яна? Она давно объясачена и Перфильевым, и Ребровым, и Губарем.

Стадухин насторожился, ожидая очередного обмана, но зловерный сын боярский предложил:

– Отправлю казенным подъемом отряд в верховья Алдана для прииску новых земель. Вот те крест! – Перекрестился. – Отпущу тебя!

Алдан! Богатейшие места. Много лет енисейские и мангазейские промышленные дрались за них между собой, с якутами и тунгусами. Алданские якуты беспрестанно вели там межродовые войны и отбивались от тунгусов, призывая на помощь казаков и промышленных людей. Все хотели мира, порядка и справедливости, но устроить их никто не мог.

Парфен прельстил Михея волей и казенным подъемом. Постник шел на Яну всего лишь на перемену людям, оставленным Ильей Перфильевым, кабалился, снаряжаясь за свой счет. Крест, наложенный приказным на грудь, смягчил давнюю неприязнь казака. Сын боярский не обманул Стадухина: он уже шел по Алдану с большим отрядом, но вместо прииска неведомых земель пришлось воевать с томскими казаками атамана Дмитрия Копылова.

Прошлым летом скандальные томичи проплыли мимо Ленского острога, прихватив с собой десяток таких же буйных красноярских казаков-самовольщиков. Они поднялись по Алдану и поставили Бутальское зимовье, навели порядок среди ясачных и промышленных людей. Но Ходырев не простил Копылову неподчинения и обидных слов...

Михей Стадухин очнулся от воспоминаний, стоя с шестом на носу струга. Постник с лицом, умученным вином и солнцем, молчал, о чем-то думая, сопел и мотал хмельной головой. Вздыхнул раз, другой, третий, вскинул на товарища соловьиные глаза, признался:

– На Индигирке жалел, что нет тебя рядом! Говорил своим: «Мишка врага за версту чует. А с вами я, как пес, всю ночь не сплю».

Караван торговых стругов обыденно поднимался против течения реки. Дни были жаркими, где-то горела тайга, дым стелился по воде, тучи мошки. Постник тяжело всхрапывал, свернувшись среди собольих шуб, облепленное гнусом лицо было синюшно-серым. Стадухин

смахнул с него мошку, надел на пьяную голову сетку из конского волоса. Когда десятник очутился и содрал ее с себя, бурлаки дружно загоготали:

– Такую морду портками надо прикрывать!

Короткими светлыми ночами Стадухин смотрел в небо без звезд и до боли в груди думал, что если управы на Ходырева не будет и от воевод – уж лучше зарубить его и принять царский суд, чем мучиться тем бессилием, каким страдал последние два года. Он бы вызвал Парфена на Божий суд, но понимал глубинным умом, что «сын овечий» не только не выйдет на поединок, но и сумеет посмеяться над незадачливым казаком.

– Третью пути пройдена! – Бурлацкий передовщик указал рукой на невидимое еще устье Олекмы и трижды наложил на грудь крестное знамение.

На Олекминской таможене сидел таможенный голова Дружина Трубников, на которого у Стадухина не было надежды. Будучи на приказе в Ленском, Парфен Ходырев правил им, как хотел. По слухам, все нужные приказному люди проходили Олекму беспошлинно. Торговые и промышленные, возмущаясь ленскими беспорядками, выбрали сюда целовальником промышленного человека Юшку Селиверстова.

Стадухин знал Юшку еще по Енисейскому посаду. На Лену тот пришел с промышленными и торговыми людьми при первом правлении атамана Галкина, ходил в походы с Семеном Чуфаристом, воевал с мангазейцами. После той войны разрозненные якутские роды, платившие ясак, отложились от присяги, объединились, напали на острог и держали его в осаде, пока не вышли из тайги промышленные люди. Среди них за версту был слышен трубный рык Юшка Селиверстова.

Малорослый и худосочный с виду, он имел непомерно громкий, густой голос, которым любовался и похвалялся, а потому говорил много, часто, без всякой нужды. Злой и шумный, как дворовый пес, Юшка драл луженую глотку за свою и мирскую правду. За то не раз был бит, за то же избран в таможенные целовальники.

Сытая царева служба многих правдолюбцев делала ворами. Но Юшка сидел на таможене недавно, мог еще не потерять совести и не спеться с таможенным головой. В прежние годы он был зол на Ходырева, что тот не давал отпускной грамоты Юшиной промысловой ватаге и, вымогая взятку, продержал ее возле острога до самой осени.

В виду Олекминской таможни Стадухин даже заволновался, предвкушая встречу с целовальником, но был приятно обрадован, когда тот, все такой же крикливый и по-куньи подвижный, налетел на приткнувшиеся к берегу торговые струги. Осмотрев их, стал путаться в дела служилых, пытался даже пощупать опечатанные Поярковым кожаные мешки с государевой казной, хотя не имел на это никаких прав.

– Пошел вон! – цыкнул на него Постник. – Мишка, поддай ему шестом!

Но Стадухин глядел на целовальника приветливо.

– А ты с чем едешь? – спросил тот, любопытствуя наперекор Постнику.

– С ложкой, плоской да с мирской правдой! – ответил Стадухин и показал отпускную грамоту письменного головы Пояркова.

– Да ты чо? – возмущенно вскрикнул Постник. – С какого рожна целовальник сует нос в казачьи дела?

Юшка бросил на десятника мимолетный презрительный взгляд, вернул Михею отпускную.

– На кого управу ищешь? – спросил приглушенным доверительным голосом.

– На сына боярского Парфена Ходырева! – ответил казак, пристально глядя в небесно-голубые Юшкины глаза с младенчески чистыми белками.

Они миг сузились и покрылись красными прожилками, веки набухли, выдавая непрощенную обиду.

– К тебе есть разговор, – добавил казак, почувствовав, что может найти в Юшке поддержку.

– Вам кого ни посади на приказ – всеми недовольны! – посмеялся Постник, слышавший разговор. – Вот как сядут на Лене два стольника, не выдавшие жизни горше, чем в царских палатах, с умилением вспомните Парфенку.

– Хуже не будет! – огрызнулся Стадухин. – Сколько народу при нем погибло? Столько за всю прошлую войну с якутами не убили.

Селиверстов как строптивый конь скосил глаза на Постника, подергал кадыком, но удержался от ответных слов. Закончив дела, он передал зашнурованную книгу с всяческой печатью таможенному голове. Тот вслух прочитал записи о собранных пошлинах, прилюдно приложил к листу печать и, расправив бороду, закрыл книгу. Дело было сделано. Целовальник отвел Стадухина в сторону, оба сели на сухую вросшую в берег лесину, Юшка наострил уши.

– Парфенка идет за нами, отпущенный на Ленский волок письменным головой. По моим догадкам, при нем не один сорок черных соболей и лис, с которых десятины не плачено. Тебе он их, конечно, не предьявит, но с ним пойдут торговые люди, дававшие ему посулы. Не прями ворам: ты Честной Крест целовал.

– А кому я прямил? – задиристо встрепенулся Селиверстов.

– Про тебя ничего плохого не слышал! – сдержанно ответил казак и поправился: – Пока ты здесь в целовальниках. – А то, что Ярко Хабаров – Парфенкин человек, через эту самую таможенню беспошлинно возил рухлядь сороками сороков да тысячи пудов хлеба, – знаю от верных людей.

Селиверстов бросил на служилого резкий, пронзительный взгляд, выпятил грудь и рыкнул так, что с другого берега отозвалось эхо:

– Этот год с его обоза по приказу Парфена Васильевича я взял шесть рублей за перегруз!

– Что шесть рублей? – тоскливо усмехнулся Стадухин. – Они их сотнями делают меж собой.

Струги пошли дальше к устью Витима знакомым путем длиной в сибирское лето. Оглядывая берега, Михей вспоминал места, где плечом к плечу с Ерошкой Хабаровым отбивались от якутов, покаянно вздыхал, что теперь, из-за Парфена Ходырева, вынужден говорить против него. Лето шло на жару, во всю силу лютовала мошка: утром и вечером мельтешила возле земли, при потеплении вставала на крыло, набивалась в балаганы станов. Если по берегам реки ее продувало ветром, то из лесу люди выскакивали окруженные серыми шарами. При полуденном солнце даже на середине реки с гудением носились оводы.

Камень осыпей и галечник по берегам стали меняться песками с золотыми блесками. Янтарной стеной стояли на яру стройные и высокие сосны. Был близок Витим. Здесь при моросящем дожде и клочьях тумана, висевших над водой, торговый караван догнал олекминский целовальник Юшка Селиверстов. Он так громко орал с другого берега, что был услышан, узнан по голосу и переправлен к стану.

На берег высадился до язв изъеденный гнусом голодранец в зипуне с подпалинами и с грязью на полах. Не приветствуя казаков, торговых и работных людей, отыскал глазами Стадухина и раскатисто протрубил на всю долину реки:

– Думаешь, показал мне поклажу торговых Парфенка Ходырев? Накось выкуси! – Нацелил фигу на Губаря, разумно спрятавшего соболью шапку на время дождя и оттого опростившегося. – Из пищали грозил застрелить, ногами топал, приказывал работным утопить меня, подговаривал торговых и промышленных людей не показывать своих животов и плыть мимо таможни.

– Кто? Парфенка орал? – изумленно уставился на целовальника Михей.

Сколько знал зловредного приказного, тот ни на кого голоса не повысил: только ухмылялся и облизывал усы, как сытый кот.

– Еще как орал! – рассерженным петухом вытянул шею Юшка.

Стадухину стало легче, будто кто сдвинул с груди камень, теснивший с первых стычек с приказным.

– А Дружинка Трубников что? – спросил, невесть чему посмеиваясь.

– А стоял, будто в штаны наложивши. И казаки рядом с ним. Я один против всех собачился, а после – звериными тропами – упредить воевод, кто и как к ним едет.

По берегам с двух сторон в реку падали частые ручьи. Одни были с солоноватой водой, другие со сладкой. Бурлацкий передовщик похвалялся, будто знает их наперечет, советовал, из которых брать воду для варки рыбы и саламаты, чтобы беречь соль, из которых пить и готовить отвары трав.

Постник Губарь, отлежав бока, стал ходить пешим за стругами, удить рыбу. Как-то даже сменил Михея на шесте, и Стадухин ушел вперед с долгобородым передовщиком, чтобы без остановки стругов взять ведро воды из сладкого ручья. Вдруг спутник замер, напряжился, тихо вынул из-за спины стрелу. Михей проследил за его взглядом. Молодая изюбриха без опаски обедала береговой кустарник и в лучах восходящего солнца казалась золотисто-рыжей. Она шаловливо вытягивала шею, баловалась, как девка, мотая безрогой головой. В груди Стадухина защемило что-то несбывшееся и безнадежно переболевшее. Передовщик положил стрелу на лук и стал бесшумно натягивать тетиву, Михей взял его за локоть, мешая стрелять.

– Ты что? – вскрикнул долгобородый, ошалело уставившись на казака.

Изюбриха резко обернулась, неспешно зашла за куст, постояв, легко взбежала на яр, затаилась за раскидистыми ветвями сосны, с любопытством высматривая идущих людей.

– День скоромный, неделю идем на рыбе! – громче закричал передовщик. – По два раза на дню бороду стираю – воняет ухой!

– Жалко! – смущенно признался Михей. – Экая коза, ну прямо как девка, – пробормотал, выглядывая изюбриху среди ветвей.

– Тьфу! – неприязненно выругался передовщик, резким движением вырвал локоть из пальцев казака, зашагал вперед быстрее прежнего, показывая, что не желает идти рядом с ним.

На Куту струги прибыли в июле, когда осинники сбрасывали первый желтый лист. Стадухин отметил про себя перемены – не новый уже причал со стороны Лены, конюшни, крытые сеновалы, балаганы рабочих людей. На месте прежней избы, срубленной атаманом Галкиным, стоял острожек, или зимовье, обнесенное тыном. На другой стороне притока виднелись дымные солеварни, поставленной Ерофеем Хабаровым и его верным братом Никифором. Там причал на сваях был крепче и просторней казенного.

Прибывшие с низовой струги выгребали к берегу против острожка. Иссохшая трава была здесь выщипана лошадьми и густо завалена конскими катухами. С казенного причала в привязанные суда грузили пятипудовые мешки с мукой. Изрядно выбеленные грузчики работали без шапок в непооясанных рубахах. Широкоплечий верзила с прямой спиной показался Михею знакомым. Приглядевшись, он узнал старого енисейского и ленского скандалиста Ваську Бугра, окликнул его. Тот обернулся всем телом, шурясь протии солнца, высмотрел Стадухина, весело гаркнул:

– Мишка, что ли, стрелец?

– В Енисейском мы назывались стрельцами, – перепрыгнул со струга на причал Михей. – Здесь – казаками, а жалованье то же.

Встречая прибывших, на берегу толпились служилые и любопытные рабочие люди, а Стадухин с Ермолиным-Бугром тискали друг друга в объятьях.

– Побелела борода или в муке? – смеясь, отстранился Михей.

– Откуль знать! – пробурчал Васька, обнажая щербины зубов. – Не девка, на себя не люблюсь!

– Куда муку грузишь?

– Вверх Лены! Новый воевода отправил туда полсотни енисейских, березовских и тобольских казаков с пятидесятником Мартыном Васильевым ставить острог в устье Куленги. Мы им оклады повезем.

– Я-то думал, ты всему волоку голова! – посмеялся Стадухин.

Бугор отмахнулся от насмешки, пристально оглядывая товарища по прежним походам.

– Ты тоже не похож ни на атамана, ни на богатого, – съязвил. – Поди, и полуштофом не порадуешь ради встречи! А то надышался рожью – в горле сухо! – пожаловался.

– Не порадую! – развел руками Стадухин. – Разве Постник разгуляется, он при рухляди, – указал глазами на спутника.

Бурлаки каравана обошли казенный причал, приткнули струги к берегу, вытянули их носы на сушу и с облегчением на лицах попадали на вытоптанную землю. Юшка Селиверстов окинул задиристым взглядом острожек и гаркнул раскатистым голосом:

– Что так близко от воды поставили?

Ему никто не ответил. Неторопливо и степенно на берег высаживались торговые и служилые. С важным видом людей при исполнении государева дела к ним подходили казаки-годовальщики, здешний приказный, сын боярский Иван Пильников. От конюшен сбегались работные, со стороны солеварни, густо пускавшей дымы, шагали какие-то люди.

– Я – целовальник Олекминской таможни! – ударил себя в грудь Селиверстов, явно обиженный невниманием усть-кутских людей. – Своей рукой рухлядь пересчитал, печати на мешки наложил.

– На Олекме, может быть, ты и целовальник, – небрежно окинув взглядом его потрепанную одежку, проворчал сын боярский, – а здесь говно!

– За моей подписью проездные грамоты! – громче вскрикнул оскорбленный Селиверстов, топорища тощую бородавку. – Приткнешься еще, спросишь! Говорить с тобой не стану.

Кичливо, напоказ, последним сошел на берег Постник Губарь. Взгляды всех здешних людей были прикованы к нему, оттого на Юшку с его громогласными речами никто не обращал внимания. Несмотря на июльскую жару, на Постнике были надеты две собольи шубы, две шапки и штаны из черных спинок. По щекам десятника обильно тек пот, капли сверкали на мокрых бровях, но выглядел он молодецкато, ожидая заслуженных восторгов.

Тесня усть-кутских казаков, его окружили работные, ахали, гладили соболей, дули на подпушек. Постник милостиво позволял оглядеть и пощупать себя, похохатывал и не спешил отвечать на расспросы любопытных. Казаки-годовальщики, теряя степенство, тоже с восхищением разглядывали первопроходца.

Среди людей, прибывших из Ленского острога, были приказчики московских купцов, именитых царских гостей (*купцов первой гильдии*), которые везли на Русь скупленных соболей. Рухляди у них было куда больше, чем на Постнике Губаре и в его мешках, но на них сметливо поглядывали только здешний целовальник и сын боярский.

Душа Губаря алкала праздника. Одурев от путевого безделья, он был пьян без вина, но хотел крепко выпить. Вино и рожь были здесь вдвое дешевле, чем в Ленском остроге, а соболя дороже.

С другого берега Куты к прибывшим переправились полдюжины тамошних работных людей. Среди них Стадухин узнал долговязого и длиннородого Никифора Хабарова, высокого и дородного Семена Шелковникова, с кем, бывало, отбивался от наседавших врагов, сидел в осадах, ходил на погромы и прорывы. С Семеном и Никифором Стадухин всегда ладил, с Ерофеем же в мирное время часто ссорился, но его среди встречавших не было.

– Здорово живем, людишки торговые? – фертотом вышел навстречу друзьям. – Ерошка здесь?

– Нету! – хмуро ответил Никифор вместо приветствия. – В Енисейском зимовал, говорят, тамошний воевода не отпускает. А у нас перемены, – пожаловался, теребя узловатыми пальцами концы кушака. – Новых воевод царь прислал, своих стольников...

– Знаем! – Стадухин сверкнул глазами и бодро тряхнул русой бородой и золотящимися на солнце усами. – Их письменный голова, Поярков, у нас на приказе.

– Изверг! – пожаловался Никифор приглушенным голосом. – Проезжал тут, все высмотрел, выпросил. Я как дурак расхвастался, вот, дескать, какая от нас с брательником царю польза. А он воеводам отписал такое, что нынче, едва взошла озимая рожь, приехал от них енисейский пятидесятник Семейка Родюков с дозорной памятью потребовал от имени стольника Головина данную грамоту на пашни и солеварню. Я ему говорил, что енисейский воевода словесно разрешил нам попробовать, родится ли здесь хлеб озимый да яровой, будет ли прибыль с соли. А он, Родюков, с целовальником Васькой Щукиным по воеводскому указу поля и солеварню описал в казну. Три десятины озими, десятину яровой. Кому выгода? – обиженно засопал Никифор. – Семейка, – кивнул на Шелковникова, – нынче целовальник на нашей солеварне.

– Ну и дела! – Стадухин, скинув шапку, почесал затылок. – Вот Ерошка-то лаяться будет! Держись, Семейка! – подначил Шелковникова. – А то и в драку полезет.

– А я что? – Семен равнодушно повел широкими, обвисающими от тяжести жил плечами. – Я в целовальники не просился – мир выбрал. Проторговался на Куте, просил воевод поверстать в казаки, челобитную отправлял. Родюков привез ответ, что по царскому указу промышленных, гулящих и торговых в казаки не верстают, только ссыльных... Воров! – Насмешливо поглядел на Стадухина, гулко хохотнул и почесал дородную грудь под шелковой рубахой.

Михей уставился на старого товарища, желая понять, над кем тот смеется. Не понял, помолчав, тоже хохотнул.

Пронырливый и юркий Ерофей Хабаров возил рожь из Енисейского в Ленский барками в тысячи пудов. Они с братом держали на Ленском волоке три десятка коней с работными людьми. В прошлом году подняли на Куте первую пашню. Незадолго до того начали варить соль сотнями пудов. Ерофей хватался сразу за десятки дел, и всюду за его спиной тенью и надежной каменной стеной стоял брат Никифор, упорно исполнявший начинания проворного брательника. Без него, без Никифора, Ерофей никогда бы не смог развернуться и на четверть.

С Парфеном Ходыревым Ерофей Хабаров был в большой дружбе. С его помощью, по словам олекминских годовальщиков, часто уклонялся от податей и налогов. Из-за этого обычно и ругались старые товарищи, не раз выручавшие друг друга в боях. Козни хитрого приказчика, путавшегося с проворным торговым человеком, бесили Стадухина. Он не завидовал Ерофею, не хотел для себя его суетной жизни, но возмущался беспорядками, которые тот заводил.

Хабаров каждый год судился с людьми, которым давал в долг, и с теми, у кого был в должниках. При торговых сделках в две-три тысячи рублей он не имел своего дома: только заимку на Куте, поставленную прошлой осенью, да тесное зимовье при солеварне. Зачем, для чего нужна была Ерофею Хабарову такая беспокойная жизнь? Этого Стадухин понять не мог.

– Я Ерошке с Никифором не враг! – пояснил Семен Шелковников, смущенно глядя в сторону. – Отсудят свое – верну солеварню в целости, не запущу. – Вскинув глаза на Стадухина, спросил: – Ты-то с чем приехал? С казной?

– Со «словом и делом» на вашего благодетеля Парфенку Ходырева!

– Нашел благодетеля, – хмыкнул Семен и равнодушно повел плечами: – За всякого мздоимца под кнут ложиться – спины не хватит. Много их!

– Не за Парфенку! – обиженно вскрикнул Стадухин. – За правду, Христа ради! – Размашисто и злобно перекрестился.

Юшка Селиверстов, оттесненный от стругов и досмотра, с разгневанным лицом приблизился к говорившим, краем уха услышал разговор и громко объявил, чтобы слышали все:

– Против Хабаровых ничего плохого не скажу, хоть и взял с ваших барок шесть рублей за перегруз. А Парфенка Ходырев – вор! Ладно мне, целовальнику, он и таможенному голове не предъявил рухлядь для досмотра.

Семен шевельнул выгоревшими бровями, глубоко вздохнул и отмолчался, с любопытством уставившись на Постника Губаря. Сын боярский Иван Пильников разгонял толпу, чтобы не мешала осматривать струги, при этом громко ругал судовых плотников, прибежавших смотреть на счастливых с низовой Лены. За конюшнями на покатах стояла пара больших восьмисаженных, двухмачтовых кочей, уже обшитых бортами.

– Кому строят? – спросил Стадухин, кивнув в их сторону, и взглянул на Никифора, все так же теребившего опояску.

– Для них же! Для новых воевод, – проворчал Хабаров. – И избу для ночлега проездом. Станут кремлевские сидельцы в этой ночевать, – указал глазами на зимовье, укрепленное тыном.

Бурлаки в тот же день получили расчет и загуляли вместе с Постником, хотя, по слухам, работного и служилого люда на волоке было много и найти какие-либо заработки не предвиделось.

Дальше вверх по Куте струги каравана, с которым шли Губарь, Стадухин и Селиверстов, тянули кони. Их вели под уздцы работные люди Ерофея и Никифора Хабаровых. В верховьях Куты небо заволочло черными тучами и заморосил безнадежный дождь. Уныло попискивали комары, кони прядали ушами и мотали головами, над их мокрыми спинами клубился пар. Сутулясь и невольно втягивая головы в плечи, обозные люди понуро брели берегом реки. А дождь сеял и сеял, не унимаясь, два дня сряду.

В верховьях, перед волоком, мешанный с туманом дым, стелившийся по промозглой земле, показался путникам домашним уютом. Здесь в крепенькой избе с трубой из глины жил служилый енисейский годовальщик. Он встретил прибывших без обычной суетливой радости, но пугливо озирался при приветствиях и разговоре, будто долго сидел в осаде.

– Здорово служится, Ивашка! – зычно окликнул его Селиверстов.

Годовальщик вздрогнул, как от удара батоном, уставился на него:

– Юшка, что ли? Беглый енисейский посадский?

– С какого ляда беглый? Я ушел на Лену с отпускной грамотой, нынче олекминский целовальник. Иду к воеводам с жалобами на вора Ходырева.

Годовальщик боязливо полупал глазами, озирая говорившего, зябко поежился и тихо проворчал:

– Ага! Парфен Васильевич даст в поклон соболей черных, – оглянулся по сторонам. – Воеводы в Енисейском меняются, а он при всех сидит и жалованье у него – ого! По слухам, имеет родню в Сибирском приказе.

– Не может такого быть! – вразнобой, в два голоса взревели Стадухин с Селиверстовым. – Царь своих верных воевод прислал для порядка... Да кто он против них, сын овечий?

Годовальщик со своими домислами о горькой житейской правде только качал головой, часто мигал, водил печальными глазами, терпеливо пережидая брань, только лицо его все пуще напрягалось и делалось цветом в порченный, перекаленный кирпич.

Налаявшись как псы, Юшка с Мишкой уставились друг на друга, выпытывая один у другого в глубине глаз недоговоренное. Помолчав, разбрелись по разным углам. Обозные тесно набились в избу и сушились. Неподалеку от старого зимовья, поставленного Васькой Бугром с товарищами, служилые люди, наवरстанные воеводами, рубили две избы для их ночлега. Другой воеводский отряд, тоже рубивший избы для стольников и подновлявший гать, встретился на Муке-речке. От этих людей Стадухин с Селиверстовым узнали, что новые воеводы не отпустили атамана Копылова в Енисейск, но взяли его под стражу, чтобы за приставами вернуть в Ленский для сыска. Эта новость обнадежила Михея с Юшкой.

Наконец, их обоз прибыл в просторный Илимский острог, переполненный разным народом, как улей пчелами. Воеводы, царские стольники Петр Петрович Головин и Матвей Богданович Глебов со своими людьми творили здесь суд, управу, разбирали многие жалобы. Постник Губарь с казной был принят ими без задержки и обласкан чаркой горячего вина.

Юшку с Мишкой к воеводам не пустили. Того и другого рассеянно слушал дьяк Евфимий Филатов, устало вздыхал и неприязненно морщился. Казак с целовальником не успели от души выбрать Парфена Ходырева, а дьяк уже стал выпроваживать их к писцам. Юшке велел наговорить жалобную челобитную на государево имя, что бывший ленский приказный Ходырев подговаривал торговых людей противиться таможенному досмотру, Михея равнодушно спросил, сам ли слышал, что Парфен подговаривал якутов убить служилых людей? Стадухин признался, что он только послуш, а те, что слышали, – на дальних службах. Евфимий недоверчиво покачал головой и отпустил его.

С перекошенным лицом Михей выскочил из посадской избы, занятой дьяком и писцами. На этот раз он был зол на самого себя за то, что в ярости нес всякую нелепицу. Раздосадованный, сел у коновязи, в стороне от суетившихся людей, попинал вытопанную землю пяткой сношенного бродня. Не в силах унять переполнявшие чувства, вскочил на натруженные ноги, стал вышагивать перед избой взад-вперед, дожидаясь Юшку. Наконец, тот вышел с озадаченным видом, шмыгнул носом, печально замигал обиженными глазами в красных прожилках, которые глядели куда-то поверх головы спутника. Претерпев ради правды долгий, трудный путь, голод и непогоду, после разговора с дьяком он понял, что может быть наказан за самовольное бегство с Олекмы.

– Если Парфенка и от них отбрешется, – яростно блеснул глазами Стадухин, – вот те крест, – размашисто перекрестился, объявлю «государево слово и дело». Если и царь не поверит, значит, Парфенка черту служит! Безгрешно убью гада!

– Как так? – Не слушая, Юшка вертел головой, разводил руками и тарасил туманные глаза. – Подговаривать торговых не покоряться целовальнику, говорю, царев закон нарушить... А он мне – где отпускная грамота?

Вокруг них, как мошка перед дождем, мельтешили незнакомые служилые люди. Постник Губарь продал собольи штаны и гулял на питейном дворе с каким-то сбродом, в который раз рассказывая, как подносил ему чарку сам воевода-стольник и какое у него вино. Он не забыл своих связчиков, увидев их печальные лица, велел поднести им по чарке. Мишка с Юшкой, думая о своем, терпеливо послушали самохвальство товарища и тихо ушли, не пускаясь в загул за его счет. Слушателей у Губаря хватало.

Знакомцев и сослуживцев они не встретили ни в остроге, ни в посаде. На закате дня оба наловили в Илеме мелкой рыбешки, испекли на костерке и устроились на ночлег под старой переломленной баркой.

Наконец в Илимский острог прибыл Парфен Ходырев и прямо с обоза был принят воеводами. Стадухин, узнав об этом, взмолился о справедливости в острожной церкви. Илимский белый поп дьячил. Литургию вели черные попы, следовавшие за воеводами в Ленский острог. К одному из них он подошел на исповедь. У аналоя с жаром заговорил о наболевшем. Монах прервал его, стал пытаться о крови, зависти, корысти, рукоблудии.

Михей отвечал ему все резче и злей, пока не вспылит:

– Ты кто такой? Я Богу исповедаюсь! Ты только – свидетель, а не сам Господь!

Монах вздохнул, покачал головой и не благословил к причастию. Казак выскочил из церкви, не достояв до конца литургии, нахлобучил шапку, выругался, узнал у илимских казаков имя монаха. Того звали Симеоном.

Бог не без милости, казак не без удачи! На другой день по острогу пронесся слух, что воевода Головин выявил в собранной Ходыревым казне утайку. Про Стадухина с Селиверсто-

вым вспомнили: прибежал посыльный, объявил, что Юшке и Михею надлежит быть свидетелями при вскрытии амбара Ерофея Хабарова.

Своего дома при посадке у Хабаровых не было, но здесь жил их приказчик по имени Федька и был запертый хабаровский амбар, за которым тот присматривал. Возле него уже собрались посадские люди. Одни, защищая Федьку и Хабаровых, кричали, что без хозяина срывать замок нельзя, другие ругали Ерофея, что пишет кабалу на пятнадцать рублей, а дает десять, и оправдывали воеводский приказ.

Енисейский пятидесятник показал спорящей толпе дозорную память от воеводы, затем при хабаровском приказчике, целовальнике и многих свидетелях вскрыл амбар. Целовальник, приказчик, пятидесятник и казак Стадухин вошли внутрь. Толпа любопытных так заслонила раскрытую дверь, что под кровом стало темно.

Казаки отогнали зевак и начали разбирать сложенное Хабаровым добро. Кроме законного товара, сбруй, седел, топоров и неводных полотен, масла и жира в бочках в холщовом мешке были найдены три сорока собольих пупков, три бобра, неполный сорок соболей неклеимых. Федька тут же заявил, что это его рухлядь, купленная у тунгусов.

В углу амбара обнаружили ящик, опечатанный печатью Ерофея Хабарова. Ее сорвали, ящик вскрыли и увидели колоды игральных карт.

– Запрет на игру есть! – заспорил хабаровский приказчик. – А на торг картами – запрета нет.

Наконец, в одной из бочек были найдены одиннадцать сороков неклеимых соболей стоимостью, на вскидку, от пятидесяти до пятнадцати рублей за сорок.

Толпа зевак ахнула, Федька, по виду и сам удивленный, засопел, не зная, что сказать. Стадухин с Селиверстовым, окрыленные досмотром, стали кричать в две глотки, что соболя принадлежат Парфену Ходыреву.

Все изъятное было вынесено наружу и предъявлено любопытным.

Услышав к ночи, что Парфен Ходырев взят под стражу, Михей и Юшка решили, что свой долг исполнили.

– Даже дышать легче! – признался казак целовальнику.

Постник Губарь, прогуляв соболя штаны, разумно вытрезвел, продал одну из шапок, шубы и скупал на Гостином дворе ходовой товар, который в Ленском остроге оценивался втрое-вчетверо дороже. Он тоже считал свою службу исполненной и собирался в обратный путь.

Но дело с Ходыревым вскоре приняло новый оборот: его стал выгораживать черный поп Симеон, один из четырех духовных служителей, посланных Патриаршим приказом на Лену. Монах так резво взялся за дело, что Парфена выпустили на поруки. Селиверстов от новости сник, а Стадухин пришел в такую ярость, что прилюдно облял черного попа, не пустившего его к причастию, по догадке обвинил, что тот подкуплен хитроумным сыном боярским, и даже на Господа зароптал: куда, мол, смотрит, попуская явному беззаконию?

Поп Симеон с крыльца церкви пригрозил срамословившему его казаку вырвать поганый язык, и когда за Стадухиным пришли приставы, он безропотно сдался, готовый принять муки за правду. Но те привели его не в острожную тюрьму, не в пыточную избу, а в посадский дом, горницу которого занимал письменный голова Еналий Бахтеяров.

У ворот дома позевывал караульный с бердышом на сыром березовом черенке. Хозяева, сотворив вечерние молитвы, укладывались ко сну на полатах и печи. По лавкам и по полу вповалку лежали люди, одни похрапывали, другие тихо переговаривались, кто-то заунывным шепотом вещал соседу историю своей жизни, приведшей в Илимский острог. Приставы указали Михею на дверь, завешанную зипуном, и стали готовиться ко сну.

В горнице сумеречно светилось настезь распахнутое оконце, среди лета затянутое бычьим пузырем. Над ушатом, потрескивая и шипя падающими головешками, горела лучина.

От ее огня на стенах скакали тени в шаманской пляске. За столом сидел писец с пером в руке и, что-то вычитывая, подслеповато водил носом по бумаге. Бахтеяров, вынырнув из темного угла, взглянул на вошедшего ласково, и пока Михай крестился на темные образа с тлеющей лампадкой, все чесал бороду, будто примерялся к чему-то.

Казак насторожился, догадываясь, что письменному голове что-то надо, нахлобучил шапку, взглянул на Еналия прямо и вопрошающе. Тот усадил его возле писаря, стал вкрадчиво расспрашивать о службах. Голова не любопытствовал о пропаже томских служилых на Алдане, чему Стадухин был свидетелем, но наводил вопросы на черного попа Симеона, которого Михай прилюдно лаял.

В запале пережитой ярости казак опять выбрал попу и выложил, что тот не пустил его к причастию, вымогая посул. Сказал так и заметил вдруг, что писец, сидевший сбоку, скрипит пером, а Бахтеяров плутовато шуруется и одобрительно кивает головой с длинным и плоским, как у селезня, носом. Стадухин, распаяясь, стал рассказывать, что хотел исповедаться о своих грехах, но Симеон не пожелал их слушать и выпытывал всякие глупости, чтобы выгораживать Парфенку.

– Этому попу в греховных снах не виделось, столько баб и ясырок перещупал Ходырев! – возмутился в голос. – А Парфенке грехи отпущены!

Стадухин говорил громче и громче, а когда в сердцах признался, что плыл из Ленского, чтобы объявить «государево слово и дело» против приказного сына боярского, писец, откинув прядь волос за плечо, сунул мизинец в ухо и затряс ладонью. Возле печки в избе приглушенно заворчали и заворчались отдыхавшие люди.

– Какие одиннадцать сороков рыжих соболишек? – приглушенно буркнул письменный голова. – Восемьдесят сороков одних только черных лис забрали при досмотре!

Стадухин на миг замер с разинутым ртом, торопливо вспоминая, отправлялась ли когда-нибудь государю такая казна? Изумленно кашлянув, заговорил тише, опять про злыдня Парфенку. Но письменный голова, шмыгнув длинным носом, перевел разговор на попу.

– Да вор он, вор! – сдерживая голос, отмахнулся Михай. – Меня про блудные помыслы пытал, а с Парфенки убийства, кражи, клятвопреступления снял. – Скрипнул зубами и стал перечислять, от кого что слышал про иеромонаха Симеона.

Бахтеяров, переломившись в пояснице, как перед начальствующим, алчно буравил его взглядом. Едва Стадухин перевел дыхание, выбравшись для облегчения души, вкрадчиво спросил, будто селезень клювом прошлепал:

– Скажешь то же самое, если воевода поставит перед собой тебя и монаха?

– Скажу! – молодецки приосанившись, пообещал Михай.

– Вот это по-христиански! – одобрительно залопотал письменный голова. – Нас государь послал в дальние свои вотчины, чтобы навести порядок. А без вас, без здешних служилых и промышленных сибирцев, без вашей помощи, что мы можем?... Грамоту разумеешь? Прочти, что записано с твоих слов, и приложи руку.

Ишь, поп-то чего удумал? – проговорился, когда казак поставил подпись. – Против стольника Петра Петровича грозит объявить «слово и дело». И Ходырев ведет себя дерзко. Видать, высоко, – поднял перст к низкому потолку и пуще прежнего прогнулся в пояснице, – кто-то его покрывает!

Стадухин вышел и направился к реке, где под разбитой баркой ждал Юшка. В жалобной челобитной, которую подписал, не было явной лжи, но как-то смутно и стыдно было на душе, будто в ответ на оплеуху схватился за нож.

На другой день его позвал посыльный от воеводы Головина. Михай крякнул, отряхнул сор с кафтана в подпалинах, перекрестился, укрепляя дух, и, придерживая саблю, зашагал за верстаным казаком.

– Я за тебя Николу молить буду! – крикнул вслед Юшка.

На крыльце съезжей избы, занятой воеводой, стоял письменный голова Бахтеяров. Он пытливо оглядел подошедшего казака и шепнул:

– Не трусь! – Хотя сам, по виду, изрядно чего-то боялся.

– А чего я буду?... – дерзко хмыкнул Стадухин, задрал бороду, расправил рыжие усы и шагнул за дверь.

В избе за столом, покрытым скатертью, сидел главный воевода Петр Петрович Головин с холеной бородой, рассыпавшейся по дородной груди. Кафтан его был расшит золотой нитью. Ни кивнуть, ни качнуть головой он не мог: на ней трубой была насажена высоченная боярская шапка. Воевода только водил глазами, с важностью моргал и хмурил брови.

На лавке против него сидели черный поп Симеон в скуфье и Парфен Ходырев в шапке сына боярского, обшитой соболями. Лицо бывшего приказного было перекошено злобой. Он бросил на казака такой испепеляющий взгляд, что Стадухин наконец-то полностью уверился – не зря плыл в Илимский. По лицам попа и сына боярского догадался, что писец уже прочел им жалобную челобитную, потому воевода и поставил их всех перед собой. К этому Михей был готов, этого добивался.

– Эх-эх! – Поп мельком скользнул по его лицу печальным взглядом. – Буйная да дурная твоя головушка! Не ведаешь, что творишь чертям на радость, наговорил ведь на меня напраслину. И кто же с тебя такой тяжкий грех снимет?

– Ты и снимешь! – огрызнулся казак. – Полсорока соболей выложу в поклон, еще и расцелуешь. – Скинул шапку, стал класть поясные поклоны на образа.

Воевода величаво помалкивал, властно вода вылупленными глазами с одного на другого. Положив последний поклон, Михей нахлобучил сермяжный шлычек и добавил, ответив презрительным взглядом на ненависть Ходырева: – За каждое свое слово готов лечь под кнут ради правды! Они о прибылях только и думают, – объявил громче и резче, – а там, – кивнул на полночь, – из-за того невинная кровь льется по сей день.

Поп печально завздыхал. Ходырев же заорал дурным голосом:

– Да это же один из самых вздорных заводчиков и смутьянов. Про кровь говорит, а сам по локти в ней. Да ты с Иваном Галкиным православных мангазейцев смертным боем бил!

И то, как Ходырев кричал о давнем, начальствующими людьми разобранном, самим казаком перед собой отмоленном, напрочь успокоило его. Стадухин снисходительно усмехнулся и почувствовал, как ровно и спокойно забилося сердце, будто сняли с груди камень. Томившие его злоба и ненависть прошли, ему стало даже жаль Парфенку.

– Не откажешься от слов? – строго спросил воевода и взглянул на казака потеплевшим взглядом.

– Не откажусь! – твердо ответил он. – Зови заплечника, испытай кнутом.

– Вешать надо таких смутьянов, не кнутом бить! – хрипло выкрикнул Ходырев и пригрозил, указывая глазами на воеводу: – Они как пришли, так и уйдут, а я останусь.

– За приставами вернешься в Ленский острог для сыска! – членораздельно и властно приказал Головин. – Перевел глаза на Стадухина. – Тебе без палача верю. Кто мне верно служит – тех не забываю!

– Лена давно ждет порядка, – по-своему понял его Стадухин. – Наведешь – все тебе прямить будут: и служилые, и промышленные, и инородцы.

Он вышел из съезжей избы. У коновязи стоял Юшка Селиверстов с уздой, накрученной на кулак. За его плечом мотал головой казенный конь. По лицу Стадухина целовальник понял – их правда взяла, и затрубил на весь острог:

– Есть справедливость и на этом свете!

И показалось казаку, будто солнце засветило ярче, веселей защебетали птицы, гнус не донимал как обычно, дышалось легко и свободно, как в юности, на отчине. Теперь прежние злые помыслы об убийстве Парфенки казались ему смешными.

Ночевали они с Юшкой около барки, которую проезжие люди потихоньку растаскивали на дрова. Возле Илима скопилось много промысловых и торговых ватаг, ждущих своей очереди выхода на волок. На берегу было много костров, алыми звездочками они отражались в ночной реке. Обыденно гудели комары, привычно ныли открытые места кожи, поеденные мошкой. Ночь была темна. С шапками под головами, лежа в разные стороны ногами: один на лапнике, другой на бересте, Мишка с Юшкой укрылись верхней одеждой и смотрели на звезды.

Стадухин улыбался им, думая, что исполнил волю ангелов, глядящих на него сквозь распахнутые небесные оконца, и признавался себе, что никогда не смог бы простить Ходыреву обид, не отмстив за них. Задумано ли так звездами и Господом, сказавшим: «Мне отмщение и аз воздам», или был мучим бесовскими страстями? Как знать? Оправдывая себя, казак думал, что когда-нибудь эти звезды и Господь скажут, зачем все было: ненависть, голод, холод, кровь, вечные распри между людьми?

На другой день Юшку били батогами за то, что бросил таможду, а не отправил жалобную челобитную. Олекминский целовальник обиженно покряхтывал и оправдывался: «Мало Парфенка перехватывал тех челобитных и отбрехивался?» Бит был Юшка жалостливо, для порядка, другим в поучение и после наказания глядел на свидетелей горделиво, как претерпевший не по грехам, но за правду, Христа ради.

Обоим, олекминскому целовальнику и ленскому казаку, было предписано возвращаться к прежним местам служб с торговыми людьми царского гостя (*купца первой гильдии*) Гусельникова и гостя царской сотни Усова (*купца второй гильдии*) при их стругах, с их приказчиками и работными людьми, на их кормах. В пути им предписывалось досматривать, чтобы незаконного торгового не было, а служилые люди на Куте и Лене торговым ватагам насильств и обид не чинили.

Приказчики Василия Гусельникова многие годы шли по Сибири за первыми промышленными и служилыми людьми, торговали в Ленском остроге едва ли не со времен его основания сотником Петром Бекетовым. По соображениям Михея Стадухина, сам купец, не показывавший носу на Лене, приходился ему дальней родней. Гусь лисе не товарищ, большой пользы от того не было, но при его судах могли быть земляки-пинежцы и даже знакомые люди, от которых можно узнать новости с родины.

По слухам, торговые караваны Василия Гусельникова и Алексея Усова благополучно прошли Шаманский порог на Илеме и со дня на день должны были подойти к острогу. С теми спокойными мыслями Михей Стадухин на редкость крепко уснул. Под утро ему снились родниковая вода и кровь, выступившая на старой зажившей ране.

Так уж было дано с юности, что глубокий сон обходил его стороной, особенно при многолюдье. Он как-то ненадолго, по-волчьи, впадал в забытие, растекаясь бодрствующим внутренним взором, чувствуя чужие страсти, злобу и ненависть. А тут, как чудо, рядом с острогом, со многими ватажками, душа будто в небе отдохнула. И сон был чудной, от него весь следующий день она томилась и чего-то ждала.

Михей то и дело посматривал на реку. Пинежцы подошли после полудня. Среди людей с обожженными солнцем, изъеденными гнусом лицами, он узнал гусельниковского приказчика Михайлу Стахеева, еще один человек показался знакомым. Волнуясь, подошел к стругам, причалившим к берегу.

– Мишка, что ли? – спросил кто-то и знакомым движением руки смахнул испарину со лба.

– Тарх? – вскрикнул казак, глазам не веря, и в следующий миг тискал в объятьях брата. Рядом с ним смущенно и радостно топтался молодец с родным, до боли знакомым лицом.

– Не узнаешь Гераську? – смахивая слезы, кивнул на брата Тарх. – Да и как узнаешь, если он после твоего ухода родился?

– Брательник? – Михай обнял младшего братца с шелковистым пухом на щеках и понял, что тот похож на деда.

Сон был в руку. Едва он стряхнул с бороды радостные слезы, отступил на шаг, чтобы полюбоваться братьями, взору предстало чудное видение в образе зрелой женщины со стройным, как у девки, и крепким, как у женщины, станом. По обычаю сибирских баб голова ее была плотно обвязана льняным платком, так что виделись только глаза с изъеденными гнусом, вымазанными дегтем веками. Когда их взгляды встретились, женщина неспешно развязала узел платка и скинула его на плечи, бесстыдно обнажив гладко причесанную голову с двумя косами...

Михею, без вина пьяному от встречи с братьями, почудилось, что, окунувшись в синеву ее глаз, душа взмыла к небесам. Она глядела пристально, с насмешливым вызовом, как прелюбодейка, выставляя себя во всех грехах и пороке.

– Кто такая? – изумленно пробормотал Михай, и будто из погреба услышал ответ Герасима:

– Томская посадская. Шла на Русь с отпускной грамотой. Я ее в Обдорском сговорил идти на Лену стряпухой.

– Два раза вдовела. Дети померли! – Горделиво приосанилась женщина, блеснула глазами, не опустив их под пристальным взглядом казака: – Гераська меня, гулящую, подобрал! – Едко усмехнулась.

– Вон что! – рассеянно пролепетал Михай негнушимся языком. – Вольная, значит! Вот бы мне такая сыновей родила! – И спохватился, что непослушный язык прилюдно несет нелепицу, виновато улыбнулся, добавил: – На Лене будешь первой красавицей!

Вызывающе прищуренные глаза женщины вдруг подернулись паутинкой боли, блеснули невзначай наворачнувшейся слезой. Она поморщилась, вымученно улыбнулась, смущенно опустила голову.

– А что? – Михай расправил грудь, уперся руками в бока. – Я на полном окладе, со мной не пропадешь. Отец в мои-то годы уже всех нас, сыновей, имел, – указал на братьев, – а я все холостой и бездетный. – Будто даже пожаловался на долю.

Герасим, что-то бормоча, взял женщину за руку, потянул от очарованного братана. Она строптиво стряхнула его руку, опять попыталась сделать глаза дерзкими, даже подперла рукой крутой бок, будто собиралась плясать, но в следующий миг смутилась, опустила голову и ушла.

– Нельзя ей под венец! – взволнованно заговорил Гераська.

– Это почему? – чего-то недопонимая, спросил Михай, глядя в спину удалявшейся женщины. – Эй, красавица, – окликнул. – Как зовут-то?

– Арина! – не оборачиваясь, ответила она и зашагала берегом.

– Несчастья приносит мужьям, – пугливо лопотал Герасим, переминаясь с ноги на ногу и бросая болезненные взгляды то на Арину, то на брата. – Она не только стряпуха... От самого Обдорского под одним одеялом со мной, во грехе.

– В Енисейском едва отбились от женихов, – хохотнул Тарх. – Воевода ей двадцать рублей сулил. Не осталась!

– Она же тебе стара! – удивился Михай, ничуть не смутившись тем, что услышал. – Разве среднему ровесница? – обернулся к Тарху, статному, широкоплечему мужу с окладистой бородой.

– Я ей не по нраву! – вздохнул тот, тоже любясь стряпухой. – По греховной слабости пригрел бы, конечно, да Гераська ее чем-то прельстил. Других к себе не пускает.

– Я тебе ясырку найду! – переводя разговор в смех, пообещал Михай. – Говорят, они в блюде слаще.

Обожженное солнцем лицо Герасима с шелухой отставшей кожи на носу и по щекам налилось краской, он закричал, закашлялся, перебирая ногами, как зловредный петух, торопливо соображал, что сказать.

– Так ведь грех братнину полюбовную вдову за себя брать! – вскрикнул обиженным голосом.

– То, что там грех, – Михей, смеясь, обнял младшего и кивнул на закат, – у нас, – указал на восход, – в почесть! Ох уж это скандальное новгородское отродье, – рассмеялся. – Едва встретились – сразу спор. Ладно, сама судьбу выберет!

Он присел возле струга братьев. Обозные люди торопливо обустроивали стан. Тарх суетился среди них, Герасим развязывал узлы на мешках с поклажей. Глаза Михея сами собой отыскивали Арину, месившую тесто в березовом бочонке.

– Вольной воля! – пробубнил над ухом младший брат, проследив за его взглядом. – В нашем товаре и твоя доля. Мы с Тархом отцов дом продали...

Между тем все струги торгово-промышленной ватаги купца Гусельникова были вытянуты на берег. Приказчик Михайла Стахеев махнул рукой Михею Стадухину и стал переодеваться. Он каждый год возил на Лену ходовой товар, рожь и пшеницу. Герасим с Тархом пристали к его торгово-промышленной ватажке в надежде на помощь и науку. Оба приглядывались к сибирским порядкам, к покупателям, надеялись на помощь брата, служившего в Ленском остроге. Встреча с ним в Илимском и его покровительство были большим счастьем.

Михей подошел к земляку-приказчику. Последний раз они виделись прошлой осенью. Стахеев как всегда был весел и словоохотлив. Стадухин заметил на его лице крап оспинок.

– Где успел переболеть? – спросил вместо приветствия.

– Пусяки! – смеясь, отмахнулся земляк. – Принудили отдохнуть в Тобольском. Заперли в избе. Отоспался на год вперед! – отвечал, переодеваясь из дорожного платья в дорогой кафтан, обшитый по обшлагам собольими спинками, заломил шапку, шитую из меха черной лисы, кивнув земляку, направился в острог к таможенному целовальнику.

Юшка Селиверстов, сидя в стороне и примечая рассеянность Михея, напомнил о воеводском наказе, затем встал с рассерженным лицом, раскатисто выругался и по-хозяйски стал оглядывать струги пинежцев, чтобы товаров с них не выносили да всяких ярыжек не подпускали. Он нес службу за двоих.

Приказчик Стахеев вернулся с лучившимися глазами и привел илимского таможенного целовальника. Тот бегло осмотрел товары, имущество ватажных людей. Юшка укорил его за недогляд, потребовал развязать мешки, дотошно ощупывал их и всюду совал нос. Когда досмотр был закончен, он с видом человека, исполнившего долг, заулыбался, заговорил душевней и ласковей. Обозные люди развели костры, на стане запахло свежим хлебом и печеной рыбой.

Братья Стадухины, сыны Васильевы, сели в стороне. Михей виновато спохватился:

– Расскажите, что там, на отчине?

– Сперва мать померла, потом отец, ты о том уже знаешь, – повздыхав, стали рассказывать братья. – Перед кончиной передали тебе, старшему, свое благословение. Мы похоронили их рядом с дедами.

Михей встал, скинул шапку, трижды перекрестился, кланяясь на восход.

– Дом продали! – продолжил Тарх. – Герасим товар купил, у него торг лучше получается... А на отчине новости такие: считай полдеревни в Сибири. В иных домах одни бабы, ждут мужей и сыновей, другие брошены или проданы. Вот и мы подумали, что дому гнить? Вернемся богатыми – новый срубим. И времена там тяжкие – царевы холопы не дают жить по старине, заводят порядки латинянские. Сколько себя помним, царь все с ляхами воюет, а их на Руси все больше и больше. Приезжают с царскими грамотами, ведут себя по-хозяйски. На

что устюжане были московскими пособниками в войнах с Новгородом, и те валом пошли в Сибирь от нынешних порядков, чтобы переждать лихие времена.

Вот и все новости! – Тарх пожал плечами и опустил голову.

– Правильно, что дом продали, – одобрил братьев Михей. – Подати скопятся – не расчитаемся. Даст бог, разбогатеем, выкупим.

Герасим, по его словам, собирался торговать в Ленском остроге под покровительством Стахеева. Тарх хотел идти на промыслы, торг был ему не по душе.

Спать братья легли в сумерках, когда затих стан. Герасим с Тархом забрались под перевернутый струг. Вечер был теплым. Михей, с утра ждавший чуда и с тем проживший день, привычно улегся под открытым небом в стороне от стана, положил под бок саблю, поглаживая пальцами ножны, поднял глаза на зажигавшиеся звезды.

Смолоду, и даже в Сибири на службах, он думал, что все люди могут, как он, чуют злой умысел, но ленятся бодрствовать ночами. Поздно уразумел, что таким даром или наказанием наделены немногие. Чутье хорошо помогало при малолюдье, но в острогах и городах делалось мукой, истязало бессонницей, пока, к счастливому облегчению, само собой не притуплялось.

Михей привычно растекся душой по округе и содрогнулся от бессмысленного многоголосья. Только возле реки томилась, истекала слезами, какая-то печальная дума. Стадухин стал мысленно читать вечерние молитвы, чтобы отвлечься и уснуть. Помогло. Печальная песня выткалась на звездном небе обликом Арины. Сонно и счастливо, любуясь им сквозь ресницы, Михей улыбнулся, впадая в сладкую дрему. В очередной раз приоткрыв глаза, увидел смутное очертание облика в аршине над собой.

– Спишь? – прошептала она, клонясь. – А я не могу. Разбередил ты мне душу.

Михей сел, радостно прислушиваясь к звукам ночи, к ее шепоту, сладостно втянул в грудь дурман реки и женщины. Все это казалось ему счастливым видением, которого ждал прожитый день. Он взял ее за руку и тихо рассмеялся.

– Пойдем куда-нибудь! – предложила она, не высвобождая руки из его ладони.

Он легко поднялся, перекинул через плечо сабельный ремень, наспех опоясался и повел Арину сперва к реке, потом к березовому колку, возле которого они с Юшкой ночевали под баркой.

– Моему первому сыну было бы лет пятнадцать, – приглушенно рассказывала она. В ее голосе дрожали слезы, готовые сорваться в плач. – От другого мужа тоже был сын. Нет уж никого в грешном мире, всех Бог прибрал, а у меня душа окаменела – хотела абы как дожить до кончины. А ты сыновей попросил – и оттаяло что-то. Больно стало! – Она тихонько заплакала. – От Гераськи берегусь да отмаливаюсь: не хочу детей. А от тебя опять захотела! – Она остановилась, хлопнув носом, положила руки ему на плечи, взглянула в упор.

В редкой темени сибирской ночи с гнусавым пением комаров Михей увидел, что лицо ее вытянулось, глаза в темных глазницах удивленно расширяются, губы дрожат. И в этот миг почувствовал на спине опасный, настороженный, любопытный и пристальный взгляд. С досадой обернулся. В десяти шагах, у реки стоял странного вида мордастый мужик с узкими плечами, с мокрой бородой, распадавшейся на брылы. Ноги его были непомерно короткими и кривыми, чуть не до колен свисало брюхо. Маленькие колючие глазки бесстыдно разглядывали уединившуюся парочку.

Михей хотел уже цыкнуть на пялившегося, но тот, вытянув короткую шею, издал два коротких и один длинный рык. Стадухин опознал вылезшего из реки медведя, закрыл спиной Арину, издал тот же звериный рев. Медведь скакнул на четыре лапы и бросился в воду. На разбуженных станах захрустел хворост, занялись гаснувшие костры.

– Мама родная! Как сердце-то бьется! – охнула Арина и стала оседать на землю.

Михей подхватил ее, невольно обвисшую, прижавшуюся высокой грудью к его щеке, припал губами к ее губам. Подрагивая от невольного, невымещенного испуга, с помутившимся

рассудком заурчал, как медведь, стал раздевать ее, путаясь в складках незнакомой одежды, добираясь до сокровенной плоти. Остатками здравого ума чувствовал, что она не противится и даже помогает его рукам. И припал к ней, как истомившийся жаждой путник к роднику: пил и пил, радовался, что пресыщение не наступает и таяла, отпускала душу застарелая шершавая тоска по несбывшемуся.

Арина застонала, напряглась, опала на выдохе и обмерла, перестав дышать. Михей отстранился, забеспокоившись – не померла ли? Но ресницы ее дрогнули, она открыла глаза и тихо рассмеялась.

– Летала среди звездочек. Одна, тепленькая такая, угодила под сердце. Сыночек! Я знаю, – всхлипнула, хлюпнув носом.

– Хорошо бы! – переводя дух, прошептал Михей. – Мне-то как сына хочется! – И рассмеялся, привлекая ее к себе.

Она молчала, не отвечая на его ласки, по ее щекам текли слезы, и он ощущал их вкус на губах.

– Плохо, что медведь нас повенчал – первый пособник лешему! Кабы не пришлось сыночку всю жизнь лешачить. – Помолчав в задумчивости, добавила: – Хоть бы и так, лишь бы нас с тобой пережил. Не дай-то бог еще раз... – Вздрогнула, всхлипнув громче, договаривать не стала, но спросила с опаской: – Почему ты на него по-медвежьи взревел?

– Не знаю! – искренне признался Михей. – Само получилось.

На стан они вернулись при свете дня и занимавшемся солнце. Ватажные жгли костры и ругали сбежавшую стряпуху. Герасим с одеялом на плечах, заспанный, неумытый, насупившись, сидел возле перевернутого струга, с укором глядел на приближавшуюся Арину.

Ласково посмеиваясь, она подошла к нему, наклонилась, погладила нечесаную голову:

– Не печалься, мой хороший! У тебя, даст бог, вся жизнь впереди, а у меня последние бабьи годочки.

– Я и говорю. – Тарх ткнул в плечо меньшого, стараясь развеселить: – Если у них что сладится – слава богу, а не сладится – вернется, от нее не убудет...

– Что уж тут? – часто и громко завздыхал Герасим, перебарывая слезы и дрожь в голосе. – Ушла так ушла. Отпускай не отпускай!

– А у тебя на висках проседь! – Арина обернулась к Михею, окинув его светлыми глазами без тени бессонной ночи. – Я вчера и не заметила.

– На ощупь седины не видно! – с укором проворчал Герасим и снова хлюпнул носом.

Арина снова рассмеялась, опять потрепала его по волосам и, не обращая внимания на укоризненные взгляды ватажных, пошла к котлам.

– Руки-то помой после прелюбодейства! – буркнул гусельниковский покрученник.

– Даже искупалась в реке, не видишь, что ли? – ничуть не смутившись, с вызовом ответила стряпуха и стала готовить завтрак.

За голенищем ложка, за пазухой плоска... На случайных казенных харчах ленский казак Мишка Стадухин чувствовал себя счастливым юнцом, которому будущее грезится одним только счастьем. Все свободное время они с Ариной проводили вместе. Удивляя своего любовного молодца с проседью на висках, она иногда разглядывала его, как жеребца на торгу.

– Ты чего? – смеялся он.

– Чудно! – шептала, оглаживая его грудь с восхищением и затаенной горечью. – Увидела тебя, подумала: сильный, смелый, ни перед кем шеи не согнет. А ночью в лесу – забоялась, почувствовала в тебе зверя. Думать не думала, что ты такой нежный, ласковый. – Прижалась щекой к груди. – Детей тебе рожу сколько успею. Дом построим. Что еще надо?

– Венчаться надо! – Михей глубокомысленно поскоблил грудь ногтями. – Если здесь сговоримся, то на исповедь иди к старому попу. К монахам не ходи.

– Ой, боюсь, боюсь! – Арина закрыла лицо руками. – Ты ведь ни разу невенчанный?

– Нет!

– А я два раза! Третий – грех, а больше нельзя. Кабы несчастья на тебя не навлечь. Может быть, не надо, а? – попросила жалобно. – В Сибири не обязательно жить по закону. Вон сколько распутства кругом. Поди, Бог нам простит?!

– Надо! – сказал, как отрубил, Михай. – Нагулянным детям счастья не будет! А от страхов твоих отмолимся, я – заговоренный! – признался приглушенным голосом. – Товарищей рядом ранили-переранили, а у меня ни царапины, только одежда издырявлена. – Опасливо зыркнув по сторонам, прошептал ей на ухо: – Я чую, когда в меня стрела или пуля летит.

– Не говори так! – вскрикнула она, боязливо распахнув голубые глаза, закрыла его рот ладошкой. – Чур нас, чур! Господи, помилуй! Жить с тобой долго и счастливо, помереть в один час...

– Я еще богатым стану! – пообещал Михай, ласково снимая ее теплую ладонь со своих золотистых усов. – Не таким, чтобы очень – деньги меня не любят, но прожиточным. И еще знаменитым атаманом! Знаю, это мне на роду написано – на всю деревню и роду уродился один с рыжими усами. За тем в Сибирь шел. Только отчего-то не спешит ни богатство, ни слава. – Вскинул смеющиеся глаза к небу: – Раз тебя прислали, значит, скоро уже... – Подумав о своем, хмыкнул в бороду, удивляясь превратностям своей судьбы: – Сколько русских девок и баб видел по Сибири, ни одному жениху, ни одному мужу не позавидовал – все были не мои. Тебя увидел – будто узнал. Вот ведь!

Арина уткнулась лицом в его грудь, тихо, беззвучно заплакала.

– Поздно вернулись, голубчики! – гаркнул Юшка Селиверстов, увидев подходивших к стану Михея с Ариной, его голос раскатом грома отозвался с другого берега реки. – Проспали свое счастье! Теперь я пойду до Олекмы с твоей родней. – Ожидая спора, Юшка буравил Михея пристальным испытующим взглядом и доил жидкую бороду, как сосок на козьем вымени. Стадухин принял весть без перемены в лице, и он успокоенно рассмеялся: – Тебе велено идти с усовскими торговыми людьми.

Тлели угли костра, пахло свежим хлебом. В невесть кем и когда сложенной из речного камня каменке мужчины пекли тесто, загодя поставленное стряпухой. Она по-хозяйски оттеснила их, не глядя по сторонам, принялась за обычное дело. Михай присел у костра на корточки, вытянул ладони над огнем.

– Ну и ладно! – покладисто согласился с Юшкой. – Иди с моими, а мы пойдем с усовскими. Чьи у них приказчики?

– Старший – холмогорец, младший – устюжанин! Вчера только пришли.

Юшка чуть тише зарокотал какими-то обвинениями и оправданиями, которых казак не слушал. Перемолчав целовальника, поднял смиренные и бессонные глаза на братьев, спросил:

– Как ночевали?

– Слава богу! – приветливо кивнул Тарх и чуть было не спросил старшего о том же, но спохватился на полуслове. Ватажные поняли несказанное, приглушенно загоготали. Рассмеялся и Михай.

К нему подошел Герасим с пламеневшим лицом, присел рядом, неловко обнял.

– Дай бог и тебе счастья! – притиснул его к себе Михай. – Осчастливил ты меня. С тех пор, как ушел из дому, так хорошо не было.

– Живите! Спаси вас Господь! Чего уж там! Знал ведь, что не себе везу стряпуху. Пусть хоть для братана.

Ранним утром пинежцы с олекминским целовальником Юшкой Селиверстовым ушли на волок. Михай с Ариной, бездельничая, посидели возле гаснущего костра, поговорили о пустяках и отправились на табор усовского обоза. Весело глядя на казака и женщину умными глазами, их приветливо встретил старший приказчик по имени Федот Попов. Он был высок и строен, борода ровно подстрижена. Другой приказчик того же купца, Лука Сиверов, как и

положено торговому человеку, поглядывал на служилого настороженно, женщины старался не замечать, на вопросы Михея отвечал кратко и ясно, своих вопросов не задавал.

Федот же, напротив, ненавязчиво любясь Ариной, спросил, жена ли она казаку, сестра ли?

– Невеста! – ответил он. – Хотел подать челобитную, да воеводский писарь меньше полтины не возьмет, а кабалиться в Илимском не с руки.

– Я могу написать даром! – предложил Федот.

– Ага! – настороженно шевельнул усами Михей, понимая, что, приняв помощь от торговых людей, вынужден будет покрывать их беззакония. – Я тоже грамотный! Да вдруг ошибусь в царевом титуле... Под кнут идти! На кой оно?

– Я не ошибусь! – заверил Федот, но настаивать на помощи не стал.

– Успею, подам в устье Куты. Там у меня – друг целовальник. На Лене, бывало, спина к спине сидели в осаде или рубились с рассвета до ночи. После он торговал, а разбогатев, не скурвился, как другие. Нынче, правда, проторговался и служит в целовальниках на бывшей хабаровской солеварне.

– Уж не Семейка ли Шелковников? – удивился Федот.

– Семейка!

– Так это же мой друг! Мы с ним под началом Пантелея Пенды первыми на Лену вышли. Не слышал?

– Как же? – Теперь Михей исподлобья метнул на приказчика удивленный взгляд. – Пантелея Демидыча все знают.

– Живой?

– Не было слухов, что помер. В Ленском он давно не был, но Постник Губарь сказывал, видел на Индигирке...

– Вот бы кого мне встретить! – с таким жаром воскликнул приказчик, что ленский казак почувствовал в нем своего, искреннего человека, какие редко встречаются среди торговых людей.

Как ни много промысловых и торговых ватаг скопилось под волоком, но после ухода воевод с их людьми острог и посад казались опустевшими, а округ притихшим. Приказчики усовского обоза будто нарочито ждали, когда схлынет этот затор. Не спешил в Ленский острог и Михей. Кормились они с Ариной в обозе. Она опять варила и стряпала, он отгонял от стругов ярыжек и служилых, искавших выгод. Федот Попов привел на табор двух гулящих людей, которые хвалились за месяц привести струги с верховьев Куты к Ленскому острожку и рядились за работу дорого. Поговорив с ними, Михей уличил обман: дальше Николиного погоста плеса Лены они не знали.

Стадухин нашел в вытоптанном прибрежном осиннике брошенный балаган, подновил его и уводил туда Арину от костров и многолюдья стана. Обозным нравилось, что служилый не лезет в их дела, и отношения казака с торговыми людьми потеплели. Он же, к своему счастью, рядом с женщиной спал так крепко, что не чувствовал около себя никого, кроме нее.

Они старались уединиться всякий свободный час, который могли провести вместе. На баню или мыльню денег не было, мылись в реке. Не желая носить штанов, как русская женщина, Арина мазала ноги дегтем до самой промежности, но это мало помогало – мокрец да мошка и с дегтем разъедали кожу до язв. Михей где-то добыл тайменьи кожи, отрезал и задубил их, сшил возлюбленной портки и заставил надевать под поневу.

Мимо его глаз будто во сне прошел досмотр товаров, приказчики получили отпускную грамоту, им назначили очередь выхода на волок. Стадухин в который раз поплелся в острог по своему делу и столкнулся с письменным головой Бахтеяровым, который отстал от воевод, выполняя какие-то их наказания.

Голова полюбопытствовал о делах, морща утиный нос, посмеялся над просьбой о венчании.

– За бабий подол держась, будешь теперь зевать на приострожных службах. А я думал отправить тебя на дальние, на прииск новых земель.

– Отправь! – Стадухин напрягся вдруг и впился в него цепким взглядом. – Жена тому не помеха!

Бахтеяров опять посмеялся и, лукаво шурясь, спросил:

– А добудешь соболей, про меня не забудешь?

– Я никогда не забываю ни добра, ни зла! – резко ответил казак.

– Про зло помню, – хохотнул голова. – Заварил ты кашу с Ходыревым и Копыловым. Дай бог, расхлебать. – Плутовато, напоказ вздохнув, опять прищурился: – Сам напишу и приму челобитную от имени воевод. Они мне не откажут. А про соболей помни – замолвлю за тебя словечко.

Глаза Стадухина вспыхнули, он неволей доверительно придвинулся к письменному голове.

– Отправь искать новую землю! – попросил. – Уж я воздам и тебе, и казне.

К вечеру на стан обоза прибежал посыльный и велел Михею идти к Бахтеярову, чтобы приложить руку к челобитной.

«Не забыл! – удивился Стадухин. – Не тянул, как обычно, для пущей важности, набивая цену».

После отъезда на волок монахов они с Ариной тихо обвенчались в острожной церкви, не рассиживаясь с причтом, вернулись на табор усовского обоза. Полтину на венчание дал Федот Попов, и Михей взял, пообещав вести струги по реке. Праздновать свадьбу было не на что, не с кем и ни к чему.

Пришел черед и усовским людям идти на волок. Вздывая жилы и мотая головами, кони потянули их струги к верховьям Куты. Незадолго до усовского обоза здесь прошли воеводы с таким войском, что от стана до стана трава была выщипана их лошадьми, а возле них зловонно смердило людскими нечистотами. Возницы брезгливо плевались и волокли струги на продуваемые безлюдные места. Обогнать же воевод на волоке было делом немислимым.

– Разве в устье Куты задержатся?! – рассуждал Стадухин, отвечая на расспросы обозных людей.

Арина кашеварила у костров, поглядывая на мужчин пустыми, незрячими глазами. За неделю совместного пути она никого из них не помнила ни по лицам, ни по именам, все были для нее просто обозными. Но ее лицо всякий раз вспыхивало и расцветало, когда на глаза попадался муж. Глупо и счастливо улыбаясь, они до неприличия долго глядели друг на друга, не замечали, что в их присутствии возле костра наступает напряженная тишина.

По строгому наказу старшего приказчика Федота Попова никто из обозных не смел ни шутить, ни осуждать вслух казака со стряпухой. Зато когда те не могли слышать, давали волю языкам и потешались над голубками.

Сена, приготовленного казаками для воеводского табуна, казенным коням не хватало, их погонщики растащили несколько копен, поставленных хабаровскими работными. Возницы с руганью накинулись на годовальщика, сидевшего в зимовье. Тот устало отбрехивался, обещая заплатить из казны Хабаровым и их людям. Зато дома, срубленные для воеводских ночлегов, пустовали, и годовальщик разрешил ночевать в них без платы. Стадухин покружил возле изб зимовья и напорсился в амбар.

– Там крыша течет, в стенах дыры – пальцы лезут. Его рубили еще голодранцы Васьки Бугра, проложившего Ленский волок. – Годовальщик и дольше отговаривал бы казака: после проезда воевод на него напала охота говорить. Стадухин же резко спросил, обрывая на полуслове:

– Пустишь?

– Ночуй, если приспичило!

– Приспичило! – Казак усмехнулся и пошел обустроить ночлег.

Два одеяла да верхняя одежда – все пожитки, что были у них с Ариной. До сумерек надо было принести бересты на подстилку, лапника и травы, чтобы постель была мягче. Мошки в амбаре было больше, чем в лесу, пришлось устраивать дымокур. Но и он не помог. Гнус выгнал обоих на продувное место, под чистое небо с выткавшимися звездами. Выкатилась ущербная луна, желтая и ясная. Положив под бок лук со стрелами, саблю, Михай не заметил, как уснул, и почувствовал тычок в бок.

– Медведь! – испуганно прошептала Арина.

Сердце женщины колотилось, она прижималась к мужу. Пока Михай выбирался из глубин сна, успел увидеть в лунном свете вытянутую горбатую тень убежавшего зверя, услышал хруст веток.

– Открываю глаза, а он ноги нюхает! – взволнованно стрекотала женщина. – И чего они к нам привязались?

Стадухин, удивляясь, что так глубоко спит под боком жены, слегка обеспокоился безопасностью ночлегов, о чем прежде не задумывался.

– Не помню, чтобы встречи с ним были к худу! – пробормотал сонным голосом, крепче обнимая Арину. – Заяц выскочит – не к добру! А медведь – как встречный человек: сразу не поймешь, что у него на уме.

Той ночью, глядя на звезды, Арина удивленно призналась ему:

– Ведь мы совсем недавно сошлись?... А мне чудится, будто век живем. А прежняя моя жизнь будто приснилась. Осенит вдруг: у меня же были мужья, дети, любовные молодцы: ни лиц не помню, ни как с ними все было. И родить от тебя хочется, как молодой, и жить долго.

– Роди! – сонно поддакнул Михай. – Поп в Ленском, поорет для порядка, что зачали в пост. Пусть! У него служба такая. Семейка Дежнев привез с Яны ясырку – у той брюхо из-под шубы выпирало. Поп заартачился – не стану крестить болдыря, во блюде зачатого. Семейка – челобитную на государево имя! Поп без поклонов и бабу окрестил, и младенца, и венчал их вместе с приплодом. У нас все проще.

Помолчав, добавил к сказанному:

– Чудно! Я ведь тоже все забыл! Были какие-то, а помню только тоску... Тебя увидел – будто Илья молнией по башке звезданул! Отыскал-таки суженую.

Он говорил искренне, но душевная радость, которой жил последнее время, порой омрачалась воспоминаниями о службе. И на этот раз с реки повеяло вдруг стужей, от которой побежали по спине мурашки. С тех самых пор, как ушел в Сибирь, он верил, что станет богатым и знаменитым, хотя о богатстве не сильно-то переживал: душа алкала подвига, который не засунешь в кожаный мешок с дорогой рухлядью, смутно рвалась в неведомые края, где казак мечтал обрести славу. Мечталось подвести новую землю под высокую государеву руку, дать тамошним народам мир и порядок. Вернуться к родовым могилам, срубить дом и передать славу внукам, чтобы помнили.

Без Арины Михай уже не представлял себе счастливой жизни. Не хотел думать и о том, как оставит ее одну при Ленском острожке. Таскать же за собой русскую женку по урману, как ясырку, было делом редким даже среди промышленных. При непрерывных походах и воинских стычках для служилых людей это было и вовсе делом невозможным.

– Бог не оставит! – пробормотал он со вздохом и неловко перекрестил грудь, лежа на спине.

2. Кремлевский порядок

В 1639 году Ленский уезд Енисейского острога государевым указом был объявлен Якутским воеводством. Узнав про многие беспорядки на реке Лене, царь Михаил Федорович послал туда воевод в придворных чинах. В те же годы на Русском севере была признана вредной для государства и прекращена монополия торговля англичан, необдуманно заведенная при Иване Грозном. Царский гость Василий Гусельников и устюжский купец московской гостиной сотни Алексей Усов приложили много сил и денег к изгнанию иностранцев, изрядно вредивших русским купцам. Только после этого осторожный Алексей Усов решил завести торговые дела на Сибирской окраине.

Устюжанин Лука Сиверов был его человеком, выросшим в торговых рядах. Обычные купеческие дела в русских городах повзрослевшему сидельцу изрядно наскучили, душа его желала большого и вольного дела. Лука был верен хозяину, помышлял о Сибири, но не знал ее. Усову нужен был опытный, бывалый приказчик, и вскоре он познакомился с торговым человеком Федотом Поповым, холмогорцем.

Средних лет, с умным лицом и честными глазами, Федот много лет торговал в Тобольске и Тюмени, занимался промыслами, непонаслышке знал окраинную Сибирь. За разговорами о ходовом сибирском товаре и тамошних сделках купец приметил в матером сибиряке страсть не к наживе, а к поиску неведомых земель. Внимательно слушая рассказы холмогорца, он кивал и думал, что такие люди больших денег искони не наживали, но, бывало, прокладывали пути к неслыханным богатствам тем, кто идет следом. Уже при первых встречах Усов стал думать, сколько денег можно вложить в человека, прочно обосновавшегося в Сибири и тосковавшего без большого, рискованного дела.

Федот понимал, что купец готов раскошелиться на сибирское предприятие, и был непрочь вольно торговать и промыслять от его имени, под его защитой. При обычных в то время сделках хозяин и приказчик оговаривали кроме возвращения долга – половину, а чаще – две из трех частей прибыли. Именитый гость царской сотни удивил бывалого сибирского торговца необычным предложением: дать товар на две тысячи рублей в долг с обычным ростом – рубль с десяти.

В первый миг Федот был ошеломлен неслыханно выгодным предложением. Это и настожило его. Торговые люди и приказчики рисковали жизнью, купцы – деньгами. При рукобитье обычно оговаривалась немилость Божья: пожары, потопления, грабежи, неудача в торге, чтобы в таких случаях купцам ни с живых, ни с родственников погибших своих денег не требовать.

– А если потонем с товаром? – спросил Федот.

– С утопленников какой спрос? – принужденно рассмеялся купец.

– А если товар утонет или пограбят, а мы живы?

Купец усмехнулся и пожал плечами, дескать, уговор есть уговор. Выходило так, что Усов давал приказчику свой товар под обычную кабальную запись. Федот думал день и другой, его не торопили с ответом. На третий холмогорец пришел в богатый дом гостя царской сотни, они ударили по рукам и запили уговор заморским винцом.

Усовский обоз пошел за шумным поездом стольников Головина и Глебова. Приказчики Федот Попов с Лукой Сиверовым не спешили обгонять его, выспрашивали о воеводах и их людях у местных жителей. Всякая метла метет на свой лад, приноравливаться к прежней власти, когда ее должна сменить другая, не было смысла.

Едва воеводы выехали из Енисейского острога, Попов с Сиверовым привели туда свой обоз. Здесь Федот встретил Ярка Хабарова, знакомого по давней мангазейской смуте, где они оба, молодые промышленные люди, были в одном полку.

– Нынче вспоминаю добрым словом тогдашнего врага нашего Гришку Кокорева, – с первых слов стал ругать Головина Ерофей. – Тот по пять раз в год именины справлял, требовал подарков, но шалил в сравнении с нынешними. В Енисейском явился ко мне стольников холоп и потребовал займа на воеводу в полторы тысячи рублей!

Брови у Федота Попова взлетели под шапку. В пути к Енисейскому острогу он был наслышан, с каким размахом развернулся Хабаров на Лене, но не думал, что тот ворочает такими деньгами. Свое предприятие, которое до сей поры казалось Федоту очень весомым, показалось ему вдруг слишком мелким для нынешних торговых дел за Енисеем.

– Не дал! – продолжал браниться Ерофей. – И вот, сижу при остроге. От енисейского воеводы одна проволочка за другой. Печенкой чую – стольниковы козни.

Про козни Хабаров говорил сгоряча. Попов знал, что он ждет обозы с рожью, чтобы барками переправить хлеб в Ленский острог. В прошлом Федот и сам отправлял рожь из Тобольска в Енисейск. Это был простой способ удвоить усовские деньги, но скучный и долгий.

Лука Сиверов, осмотревшись между Обью и Енисеем, кое-что уразумел в здешней торговле. Часть усовского товара они с Федотом продали в пути и на всю выручку купили ржи. В Енисейском остроге она стоила втрое дороже против Тобольского города. На Лене же, по рассказам Хабарова, шла от пяти рублей за пуд.

Но торговля рожью была прибрана к рукам московскими гостями, оказавшимися проворней Алексея Усова. Убедившись в том на Енисее и Ангаре, Лука Сиверов в Илимском остроге стал предлагать дешево распродать усовский товар и вернуться за новым в Тобольск.

«Торговые пути прямыми не бывают, как не бывает искренней дружба торговцев», – думал Федот Попов, с сочувствием поглядывая на Луку. Их струги неспешно плыли по Куте к Лене-реке. Их вел здешний казак Михей Стадухин. Обозные люди сидели на веслах.

С Поповым и Сиверовым на дальние промыслы плыли пять своеуженников со своим денежным и хлебным вкладом: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов. Всех их Федот знал до предприятия и ручался за каждого. При торговывая в пути, они выбирались на Сибирскую окраину промышлять соболя.

С Федотом же отправился на Лену его племянник Емельян Степанов. Емелька был молодым, огненно-рыжим, конопатым весельчаком и всю дорогу потешал обозных людей. Его большой губастый рот чаще всего был разинут от смеха или удивления. С первого взгляда юнца можно было принять за скомороха: уже один его вид вызывал смех. Но, приглядевшись, люди отмечали, что Емелька не только весел, но по-своему красив. Девки к нему льнули, и он вел себя с ними как избалованный вниманием красавец.

В устье Куты струги причалили к острожку. На казенном причале их поджидали казаки-годовальщики. Михея Стадухина здесь знали, он то и дело отвечал на приветствия. Прежде чем начать досмотр товаров, годовальщики во главе с приказным озабоченно расспросили его о делах, касавшихся служилых людей, чесали затылки и качали головами.

Покончив с досмотром, Федот спросил приказного, не уехал ли куда с солеварни целовальник Шелковников.

– Здесь! – равнодушно отмахнулся тот, все еще что-то подсчитывая в уме. – Собирался плыть в Ленский с жалобами. – Глаза его прояснились, он чему-то едко усмехнулся и выругался, помянув черта.

Попов окликнул племянника Емелю. С разинутым ртом, с сияющими глазами, тот весело, с прибаутками, сел за весла, переправил дядьку через Куту и вернулся к острожку. Федот помахал ему рукой и зашагал по ухабистой дороге к дымам солеварни.

Друзья встретились возле хабаровской заимки, крытой дерном. Срублена она была наспех, чтобы перезимовать, и оставалась такой третье или четвертое лето. Высокий, дородный, чуть сутуловатый Семен так тиснул Федота в объятьях, что тот крикнул:

– Медведь! – Отстранился, смеясь вывернулся из дружеских рук. – Пуще прежнего разъелся на казенных харчах.

Он пристально взгляделся в круглое лицо целовальника, густо обросшее бородой. Заметив в ней проседь, сетку морщин возле глаз, вздохнул:

– Однако мы с тобой не молодеем! Лет десять не виделись?

– Заходи в избу! – чуть не волоком потащил его Семен, усадил на лавку.

Из-за выставшей печи вышла немолодая уже девка тунгусской или якутской породы с черной косой на спине. Голова ее была непокрыта, на худых плечах висела застиранная мужская рубаша с закатанными рукавами. Девка равнодушно взглянула на гостя, стала выставлять на стол глиняные чашки, берестяные тески.

Наглядевшись на друга юности, Семен встал со скрипнувшей лавки, согнулся в низкой двери, придерживая шапку, и вернулся с глиняным кувшином.

– Ягодное винцо! – Поставил на стол. – Недобродило еще. Кабы нас с него не пронесло. А другого нет! – простодушно развел руками.

Федот вынул из-за кушака березовую фляжку с горячим вином. Узкие глаза ясырки с забубенной тоской скользнули по ней. Она что-то шепеляво гыркнула, и Семен ответил по-русски:

– Ставь чарку!.. Только не мешай говорить. – И пояснил, обернувшись к Федоту: – Хабаровская девка. Никифор на заимке бросил... Ну, за здоровье да за встречу, что ли! – Поднял наполненную чарку, наперстком утонувшую в широкой ладони. Перекрестив бороду, оттопырил нижнюю губу, влил в рот, водка булькнула глубоко в горле, Семен посопел, поводит бровями, кашлянул: – Хороша! – Не закусывая, перебарывая жгучую горечь, сипло заговорил: – Понимаю! Мне тоже мелкий торг наскучил. Столько лет потратил попусту. А тебе, с твоим-то умом... Зачем? Для чего? Рухлядь промышлять – не те наши годы, да и надоело. Хотел в службу поверстаться – не взяли, воеводы набрали полк в четыре сотни окладов по Казани и Тобольску. А я бы государю послужил. Это дело непостыдное!

Федот чуть заметно кивнул, тень снисходительной улыбки пробежала по губам.

– Торг торгу – рознь, – возразил осторожно. – Одно дело при лавке сидеть, другое – открыть путь в Китай или Индию. Тут тебе и слава, и богатство.

– Нынче про то много слухов, – заскрипела лавка под Семеном. На полуслове его обрвала ясырка со злым лицом. Она что-то гыркнула, он добродушно хохотнул и взялся за флягу: – Устала ждать. Душа по второй горит.

Целовальник по-хозяйски разлил остатки вина и подвинул девке кувшин с вином:

– Не отстанет, пока все не выпьет. Пусть driщет! Вдруг и обойдется: у них кишки крепче наших.

Девка сладострастно осушила чарку, смахнула со стола кувшин, ткнулась в него плоским носом, облизнулась, окинула гостя подобранными глазами и вышла. Семен степенно поднялся, притворил за ней дверь.

– Сбила с разговора, – наморщил лоб, вспоминая, о чем говорил.

– Про слухи, – подсказал Федот.

– Да! Этот год, по слухам, сплыл по Витиму промышленный человек, который жил на великой реке Амур в ясырях у тамошних князцов. Ватажку его перебили, а он как-то отплакался, кому-то хорошо послужил, и его отпустили живым. Тот промышленный сам видел богдойцев, ездил к ним для торга с хозяевами. Народов, говорит, живет по Амуру множество, и все немирные. Иные, как богдойцы, владеют огненным боем. Ружей у них много, есть даже в четыре ствола, а порох и свинец дешевые. Добром, говорил, мимо тех людей с товаром не проплыть – пограбят! А если с войском идти, так надобно не меньше тысячи сабель. Ну, и какие с того барыши?

Федот лукаво посмотрел на друга. Он слышал про выходца с Амура в Илимском остроге.

– Я тебя про другой путь выспрашивал. Сказывают, к восходу от Лены есть река, которая падает устьем как Лена, а верховья в Китае.

– Есть такой слух, – согласился Семен. – Елисейку Бузу с казаками и промышленными посылали на ту реку, но он обогатился, не дойдя даже до верховьев Яны. Постник ходил через верховья Яны сухим путем на Собачью реку – Индигирку. Где она начинается – неизвестно, про устье тоже ничего не слышал. Я хоть и сижу на Куте, но от проезжих людей много чего знаю: все смутные слухи идут через послухов от якутов и тунгусов. Никто из наших промышленных и служилых людей той реки не видел или помалкивают о ней.

В разговоре с другом, в расспросах о Лене Федот окончательно убедился, что опоздал с торговлей в Ленском остроге и тех прибылей, которых ждал, не получит. Темнело. Семен поднялся, достал с полки смолистую лучину, закрепил над ушатом, почиркав кремешком по железной полоске, раздул трут и зажег огонь.

– Говорят, собираешься в Ленский? – разглядывая широкую спину товарища, осторожно спросил Федот.

– Собираюсь, – коротко ответил Семен. – Может быть, с тобой и уплыву.

– А что там?

– Семейка Чертов, енисейский казак, объявил против меня и Пильникова «слово и дело»!

– За что?

– Говорил нам, что сено у него забрали хабаровские работные. Требовал сыска. Но сено не они взяли, а воеводские служилые. Я Черту сказал: езжай к воеводам, ищи управу. А он собрал против меня все, что мог слышать и придумать по своей догадке... Отбрешусь! – буркнул в бороду. – А нет, так я за нынешнюю службу не держусь.

– Мишка Стадухин плывет со мной до Ленского. Добился-таки управы на бывшего приказного, – с намеком на разный исход таких дел взглянул на друга Федот.

– Слышал! – Снова сел за стол Семен. – И Ходырева, и атамана Копылова повезли для сыска. С Копыловым Ивашка Москвитин ходил на Алдан. И пропал там с красноярскими казаками. Атаман говорил, будто отправил его с людьми через горы к Ламе. Прошлый год от тунгусов был слух, будто казаки на Ламе собирают ясак на государя. Даст бог, вернется. – Помолчав, Семен шлепнул широкой ладонью по колену: – А что? С тобой и уплыву. Ночуй, завтра решим... Могу дать совет! Один из кочей чем-то не приглянулся воеводам, они его оставили Пильникову, а приказному нужны струги, он с радостью поменяет коч на твои. Ниже Витима лес худой, если надумаешь плыть к морю, то в Ленском острожке кочишко будешь покупать втридорога. Так что подумай!

На другой день Федот Попов поменял три своих струга на восьмисаженный крытый палубой коч с двумя мачтами и шестью парами уключин. Обозные люди перегрузили в него товары с пожитками, хлебный и соляной припас. А Михей Стадухин заартачился:

– Да это же тяжелая кочмара¹. Ладно струги, а ее я не возьмусь вести по Лене. Нанимайте бывальца.

– Ты же не раз ходил и вниз и вверх?! – удивился его отказу Федот Попов. – Я и сам по этой реке плавал, правда, много лет назад.

– То-то и оно, что много лет! – укоризненно мотнул головой казак. – Коварная река. В иных местах против свального течения на стругах не выгрести, куда уж на кочмаре. Стрежень каждый год меняется, я не помню правильный путь, и бурлаки больше бахвалятся, чем знают. Занесет в протоку, неделями будем выбираться. – И предложил: – Здесь, на Куте, есть один верный человек, который каждый год водит суда вверх-вниз. Всякий раз собирается вернуться на Русь, нынче опять запоздал. Он путь знает.

¹ Кочмара – двух-трехмачтовое плоскодонное поморское судно до тридцати пяти метров длиной.

Федот подумал, что казак хочет помочь приятелю вернуться в Ленский острог и при этом заработать, но Михай, словно угадав его мысли, досадливо обронил:

– Лучше я дам тебе кабалу на заемную полтину, чем посажу кочмару на мель.

Вскоре он привел к приказчикам хмурого промышленного человека с длинной нечесаной бородой в пояс. Бывалец явно пропился и смущался своего вида, но цену за работу просил непомерную. Михай Стадухин его же и осадил, взывая к совести. Поторговавшись, ударили по рукам. Задатка бурлак не просил, это понравилось приказчику.

Коч и струг, отчалив от казенного причала, закачались на быстром течении Лены. Федот, вздыхая о былом, высматривал переменившиеся берега реки. Его взгляды то и дело натывались на следы бечевника, станы, торчавшие из земли остовы разбитых стругов.

Река была не той, какую он помнил. Течение воды то замирало, как в старице, то несло с такой скоростью, что некогда было оглядываться по сторонам. Федот чесал затылок и удивлялся тому, как все стало непросто или как прямил Господь его ватажке в давние годы.

Через пару дней долгобородый передовщик бурлаков пришел в себя. Морщины на его лице разгладились, мешки под глазами опали. Он сутками стоял на рулевом колесе коча, зычно кричал, когда надо было ставить парус или выгребать своей силой. Пособный ветер дул ночами, порой до полудня. Пока он не стихал, нанятый кормщик маячил на коче. К полудню, при противном ветре, когда суда еле двигались, передавал управление Михею Стадухину, натягивал на лицо сетку из конских волос и ложился спать на корме. Между тем среди островов и протоков реки несколько раз плутал и сам передовщик бурлаков, при явном мастерстве пару раз сажал коч на мели, но при этом удачно снимался с них.

В Ленский острог спешили все, а кормщик, судя по радению, больше всех. Перед Витимом река круто завияла среди отвесных скал. На корме коча как всегда маячил долгобородый передовщик, Федот с Емелькой сидели на носу, Михай с Ариной, отмахиваясь от мошки, лежали на мешках с рожью. Кормщик вдруг заорал дурным голосом. Стадухин пулей подскочил к нему. Долгобородый указал рукой на реку. Там среди глади была видна голова плывущего медведя.

Емелька прибежал с пищалью, Федот раздувал трут. Кормщик подтолкнул Михея к рулю, выхватил у Емельки пищаль с тлевшим фитилем. Медведь обернулся, тоскливо зыркнув колючими глазками на догонявшее его судно. Он был так незащищен, что у Михея заныло сердце. Казак взглянул на Арину, на ее лице тоже была безысходная печаль невольного свидетеля убийства.

И тут, зашуршав песком под днищем, коч сел на мель вблизи намытого течением острова. Собравшиеся на одном борту люди повалились с ног. Перед тем как вместе со стрелком оказаться в воде, пищаль гулко ухнула пустив по реке клубы дыма. Медведь вскоре выбрался на сушу, оглянулся, привстав на задние лапы, как показалось Стадухину, благодарно ощерил желтые зубы, прытко скакнул и скрылся в береговом кустарнике.

Кормщик с мокрой косицей свившейся бороды стоял по колено в воде, сжимал в руках разряженную пищаль и разъяренно глядел на Михея. Он готов был разразиться бранью, но вместо того подхватил плывший суконый колпак, обшитый по краю беличьими спинками, и швырнул его в казака. Отжав его, Михай беззаботно покрыл голову и с насмешкой укорил:

– Однако бурлачишь ты лучше, чем стреляешь!

К застрявшему кочу подплыли струги, на веслах сидели своеуженники. Осташка Кудрин прыгнул в воду, обошел коч, глубокомысленно почесался и крикнул:

– Не сильно сели! Руби жердины, вдруг без перегрузки снимемся.

Вскоре коч вывели на проходную глубину, а к вечеру завели в протоку, решив заночевать и запастись едой. Арина молилась. Михай посмеивался, вспоминая лица попадавших за борт спутников. Шепотом она спросила его:

– Ведь ты нарочито спас нашего медведя? Я узнала его!

Стадухин вместо прямого ответа стал туманно рассказывать, как при осаде Ленского острога якутами, весенняя льдина принесла к воротам тушу медведя, умершего от ран. Запах от нее был изрядный, но осажденные тем и питались.

– С тех пор воротит от медвежатины, – признался со смехом. – Разве лапы, печенные на углях.

Протока оказалась рыбной. Утром коч и струги отправились в дальнейший путь с волосяными веревками за кормой. На них били хвостами три осетра по два аршина и больше. Кормщик ни в чем не уличал казака, но бросал на него недоуменные и колючие взгляды. Курносый Емелька, громко чмокая, обсасывал осетриную голову и божился, что для него осетрина лучше всякого мяса.

Перед устьем Олекмы торговую ватажку нагнали суда Ерофея Хабарова, плывшие под кожаными парусами, вздутыми попутным ветром. Ерофей фертом стоял на носу ертаульного струга и насмешливо оглядывал попутчиков. Он спешил в Ленский острог с богатым грузом и был полон ярости против бесчинства воевод. Федоту приветливо помахал рукой. Высмотрев на коче Семена Шелковникова и Михея Стадухина, закричал:

– Бежать хотели от Ярка? Под землей сыщу! – Потряс кулаком и захохотал, молодецкато сбив шапку на затылок, показывал, что не гневается на старых друзей, невольно принявших участие в его разорении.

– Остыл уже! – проворчал Семен. – Наорался, поди, на Пильникова, прежде чем разобрался, кто его пограбил. И оглядывая обгонявшие караван струги Хабарова, крикнул: – Рожь везешь? Рублей на тыщу?

– Поболе! – горделиво ответил Ерофей.

Не останавливаясь для разговоров, его струги обогнали суда Попова и Сиверова.

– Юшку лаять будет за всех нас, – зевая, пробормотал Стадухин. – А что мы так медленно плывем? – громко спросил передовщика, усаживаясь за заgrabное весло. – Велика нашим лодырям пошевеливаться.

– На кой? – услышав его, отмахнулся Шелковников. – На таможене с Ярком ругаться? Все равно там придется ждать.

В Ленский острог струги Попова прибыли с ранними заморозками. К этому времени крепкие промысловые ватаги, сумевшие получить отпускные грамоты, уже разошлись по тайге, но народа возле острога было много: служилые, гулящие, промышленные. Далеко по реке разносился перестук топоров и оклики работных. На берегу сох сплавленный с Витима строевой лес, на воде покачивались плоты сучковатых, корявых сосен с близких песчаных боров. В воеводстве прочно утверждалась новая власть.

На досмотр товаров к усовским стругам с новоизбранным целовальником из торговых людей, вышел сын боярский, которого Михей Стадухин окликнул Дружинкой.

– Как тебе на новом месте, при новых воеводах? – насмешливо спросил его казак.

Бывший олекминский таможенный голова равнодушно взглянул на него, вздохнул и, не ответив, отвел глаза. Досмотр был произведен быстро. Приказчики в пути не торговали и потому оплатили только пошлину за прибытие.

– Ярко Хабаров обогнал нас. Прибыл ли? – вкрадчиво спросил таможенного Федот Попов.

– Прибыл! – снова со вздохом ответил сын боярский. – Уже сидит на цепи в старой казенке! – Хмуря брови, пояснил: – Матерно лаял нового воеводу. – По лицу и по словам таможенника непонятно было, осуждает он Хабарова или одобряет.

Федот отметил это про себя и подумал, что надо бы дать ему подарок в почесть, хоть тот и не делал еще никаких поблажек. Усовские приказчики подписались под описью, целовальник сунул перо за ухо и заткнул чернильницу, болтавшуюся на поясе в кожаном мешочке. Дружина Трубников, будто угадав мысли Федота, сказал:

– К главному воеводе не попадете. Занят! Идите на поклон к Матвею Богдановичу Глебову. С ним и говорить проще. – Вымученно улыбнулся, невольно выдавая какие-то свои тяготы.

Острог был непомерно мал для людей, прибывших этим летом. Часть тына они уже разобрали. В десяти сажнях от него рубили новую проездную башню, ставили стену здешней сучковатой и приземистой сосны. Неподалеку, за старым почерневшим тыном, курились дымы юрт, балаганов и землянок. Всюду деловито сновали люди, все были чем-то заняты.

Лука Сиверов ушел на гостиный двор присмотреться к торгу. Михей Стадухин отправился в острог. При судах остались своеуженники и Емеля Степанов. Федот с Семеном Шелковниковым пошли на поклон к воеводе Глебову. В съезжей избе его не оказалось, а беспокоить стольника на дому, где он остановился, прибывшие не решились. Дьяк и письменные головы тоже были заняты и не приняли их.

Рядом со съезжей избой стучали топорами странного вида плотники, делали прируб из сырого леса. Лица их были изнурены, рубахи не опоясаны. В стороне бездельничал казак при сабле.

– Арестанты! – догадался Федот и указал на них Семену.

Тот вдруг остановился посреди узкого прохода, перегородив его широкими плечами, уставился на стоявшего к нему спиной. Окликнул:

– Ивашка, что ли?

Плотничавший невольник обернулся на голос обветренным, посеченным глубокими морщинами лицом. Семен взревел как медведь и стал тискать его в объятьях. Федот не сразу понял, кого он облапил. Скучавший рябой охранник повеселевшими глазами наблюдал за встречей друзей, жевал листовничную смолу, не мешая чужой радости, не двигался с места.

– Дай поговорить с родней! – обернулся к нему Семен, заслонив спиной Ивашку Москвитина. Теперь старого дружка обнимал Федот.

С радостным лицом он вынул из кармана пару алтын, протянул охраннику. Тот взглянул на монеты и добродушно рассмеялся:

– Не в Енисейском! Здесь за такие деньги ничего не купишь.

– Дай гривенный! – подсказал Семен.

Москвитин подобрал шапку и зипун.

– Пойдем к стругам! – потянул его к реке Семен.

Охранник поднялся, опираясь на суковатый черенок, прихрамывая, шагнул к узнику, подал ему кушак.

– Не бойся, не сбежит! – буркнул Семен. – К вечеру вернется.

– Да куда бежать-то? – рассмеялся рябой казак и взялся за топор, оставленный Иваном.

– Сказывали, ты с Копыловым уходил? – не дав прийти в себя товарищу, на ходу спрашивал его Семен. А сам тащил друга под руку, да так быстро, что тот едва успевал переставлять ноги. – Как под стражей-то оказался?

– А в награду! – сипло ответил Иван. – Митька Копылов с Парфенкой Ходыревым тоже под стражей, но их кормят.

– Голодный, поди? – посочувствовал Федот.

– Не был бы голодным – не махал бы топором! – неприветливо огрызнулся Москвитин и устыдился: – Прости, Христа ради! Обида сердце гложет. – Посыпались из него торопливые слова: – На Алдане напал на нас Парфен Ходырев. Побил десятника Петрова с его людьми. А Митька-атаман не велел нам воевать со своими, и пошли мы вверх по реке. Потом Копылов приказал мне принять два десятка томских служилых и с красноярцами идти за горы к океану-морю, про которое слышали от ламут. Ну, и шли вверх по Мае, переволоклись через хребет в верховья Ульи, сплыли до моря, в устье срубили зимовье. Рыбы там, что плавника...

– погоди! – остановил разговорившегося друга Федот. – Расскажешь на месте, а то наши, обозные, умучают расспросами.

Иван замолчал, обиженно засопел, свесив голову.

– За что новый воевода в тюрьме держит? – Семен тут же спросил про другое.

– За то и держит и под батоги ставит, что был свидетелем и послухом, как Митька-атаман с Парфенкой воевали. Про новые земли, про океан-море не спрашивает. На одиннадцать сороков соболей – ясак с тамошних народов, в один глаз посмотрел и велел бросить в амбар. Соболишки, конечно, похуже здешних, но все равно по ленским ценам рублей по пятнадцать за сорок.

Обозные люди под началом расторопного Емельки Степанова после досмотра отогнали суда ниже острога, туда, где еще не был вырублен низкорослый ивняк, и обустроивали стан. Федот с Семеном привели Ивана Москвитина к их костру, усадили на лучшее место. Федот велел племяннику накормить гостя хлебом, напоить квасом, заварить для него толокна с медом.

Поругивая Ходырева, Копылова и новых воевод, которые, не накормив – не напоив, после дальних служб, безвинно засадили в тюрьму, Иван принялся за еду. Насытившись, прилег у огня. От острога к стану с озабоченным видом пришел Лука Сиверов, огляделся, поскоблил носком сапога оттаявшую после полудня землю.

– Что там, на Гостином? – спросил его Федот.

– Товара, такого как у нас, в избытке, – вздохнул приказчик, присаживаясь. – Покупателей нет. Хотим, не хотим, а зимовать придется. Землянки надо рыть. На Гостином дворе жить – в конец разоримся.

От народа, бегавшего вокруг острога, отделились трое и направились к костру усовской торговой ватажки.

– Михайка Стадухин, – издали узнал одного из них Емеля.

– Семейка Дежнев, караульный, – указал на другого, прихрамывавшего, Иван Москвитин. – Наверное, за мной.

Федот удивленно взглянул на Семена Шелковникова:

– До вечера сговаривались?!

Третий, в мягких ичихах, в волчьей парке, судя по одежде, был промышленным человеком. Его почтенная белая борода висла по груди едва не в пояс, седые волосы лежали по плечам. Со странным волнением вглядывался Федот в обветренное лицо, что-то знакомое было в походке, во взгляде, но узнать промышленного он не мог, пока под боком не вскрикнул Семен:

– Пантелей Демидыч!

– Пенда! – ахнули разом Попов с Москвитинным и вскочили с мест.

Годы немало потрудились над сибирским первопроходцем. Он стал похож на старый кедр с окаменевшим комлем, со скрученным ветрами стволом, но с живой зеленой верхушкой.

– С Индигирки вышел! – коротко ответил на расспросы старых друзей. – Отправил с Семейкой рухлядь, – кивнул на хромого казака, – чтобы по моей кабале оплатил, как чуял – не дошла.

– Не со мной! – пояснил казак. – С промышленными, которые сопровождали. Пропились в Жиганах. Я с казаком Простоквашей был при казне от Митьки Зыряна.

– Вот уже и ты берешь деньги под кабалу! – с грустью заметил Федот, оглядывая Пантелея. – Помню, учил: шапку, саблю и волю не закладывать!

– Здесь все не так, как там! – чуть заметно поморщившись былом, одними глазами улыбнулся и кивнул в сторону заката промышленный. – В старое время с ума сходили от бесхлебья, нынче годами живут на рыбе и мясе. Про посты одни только разговоры, дескать, в походе Бог простит... Другое все стало! – блеснул ясными глазами, оглядывая Москвитина. – Сказывают, на Ламе был, устье Амура видел?

– Был! – кивнул Иван и уставился на конвойного: не за ним ли пришел.

– Семейка Дежнев, земляк мой! – указал на казака Михея Стадухин. – Купил узникам хлеба, те и рады, божились без него работать, а не бегать христарadniчать.

Федот Попов во время разговоров несколько раз бросал на Михея быстрые скользкие взгляды, отмечая про себя, что у того сильно переменялось лицо. От самого Илимского острога казак пребывал в радостном умилении. Теперь его брови хмурились, глаза смотрели пронзительно, желваки вздувались.

Казачий десятник Москвитин стал обстоятельно рассказывать, кивая на свидетеля Стадухина, который с Парфеном Ходыревым гнал в верховья Алдана томичей и красноярцев, как атаман отправил его, Ивана, со служилыми людьми за горы к океан-морю. Как поднимались по Мае и переволоклись в Улью-реку, что течет по другую сторону гор к морю, как срубили в устье той реки зимовье по-промышленному.

– Значит, по ту сторону гор, что идут от Байкала, тоже океан? – спросил Пантелей Демидович, внимательно слушавший десятника.

– Океан! – мимолетно кивнул рассказчик. – Ламуты там другие, не те, что в верховьях Яны, а язык, говорят, схож. Железа не знают: ножи костяные, топоры каменные. Рыбы, зверя там много, живут у Бога за пазухой, понять не могут, зачем пришлым людям что-то платить, если их, пришлых, можно грабить.

Ну и собирались по две-три сотни, когда еды много, напали на зимовье. Бегут толпой, боевого порядка не знают. Взяли мы аманатов, думали, сговоримся жить в мире. А они еще чаще стали нападать. Как-то подошли скрадом, когда мы строили кочи на плотбище, закололи караульного, давай сбивать колодки с аманатов. Другой караульный при зимовье застрелил их лучшего мужика. Они, как дети, побросали топоры, луки, стали плакать над убитым. Тут мы скопом зааманатили еще семерых и одного знатного мужика.

И слышал я от них, будто к закату от устья Ульи живут бородатые люди – дауры, которые говорят им, будто они казакам – братья.

Пантелей недоверчиво хмыкнул и нетерпеливо переспросил:

– Видел их?

– Год просидели возле зимовья при непрерывных нападениях. Потом построили кочи, разделились на два отряда. Я поплыл на полдень, куда указывали аманаты. Места там бедные кормами. Дошли до косы, за которой видно устье большой реки, и повернули назад, чтобы не помереть с голоду. Дауров не видел, но слышал о них много... А воеводы решили, что те места государю не надобны: соболь, дескать, желтый.

– Зато за четыре года ты получишь одного только денежного жалованья – двадцать рублей, – посмеиваясь и загибая пальцы, стал вслух считать Семен Дежнев, – да муку, крупы, соль... да три десятка служилых, что были с тобой, затребуют столько же, а прибыли государю добыли на сто тридцать рублей. Я писать-читать не умею, а считать горазд! – похвалился, беспечно улыбаясь. – Елисей Буза привез нынче одних только черных соболей и лис восемьдесят сороков. Торговые люди оценили их по полусотне рублей за сорок...

– Послан был искать реку с истоком в Китае! – Ломая бровь и морщась, Пантелей презрительно скривил губы в белой бороде. – Но из-за черных лис просидел в низовьях Яны и Индигирки.

Говорившие и слушавшие смущенно умолкли. Чтобы поддержать прервавшийся разговор, Попов спросил его:

– Ярко Хабаров не голодает ли в тюрьме?

Стадухин желчно усмехнулся, Дежнев рассмеялся:

– У Ярка полгарнизона в кабале. Захочет запоститься – не сможет!

Рябой половинщик, карауливший заключенных, опять разговорился, отвлекая обозных от Москвитина. Он ходил с Митькой Зыряном в Верхоянское зимовье, на перемену отряду

Постника Губаря, с которым по бесовскому прельщению не ушел Михай Стадухин. Собирался своим подъемом: брал под кабалу деньги на двух коней, порох, свинец, рожь, невод. Поход начался удачно, но Семейку Бог не миловал: его кони сдохли, сам на Яне захворал.

Митька Зырян, боясь, как бы немирные народы не отбили ясачной рухляди, выдал Дежневу и Фофанову-Простокваше пай из добытых мехов и велел возвращаться в Ленский острог с государевой казной. В помощь отправил с ними двух промышленных людей и девку якутской породы, выкупленную казаками у янских инородцев. Родня той девки по имени Абаканда числилась в верных государю ясачниках и кочевала неподалеку от Ленского острога.

Бог не без милости! На Янском хребте на отряд из четырех человек напали ламуты. Казаки, промышленные и якутская девка отбились. Но Семейка получил две раны в ногу коваными наконечниками каленых боевых стрел. Девка помогла ему залечить раны так, что при ходьбе перестала сочиться кровь. Но казак, не устояв перед соблазном, забрюхатил ее в пути, а Митька велел взять с родни выкуп вдвойне.

Дежнев в целости сдал казну Парфену Ходыреву. Поклонов дать было не из чего – рухляди едва хватило, чтобы рассчитаться по кабале и за выкуп ясырки. Так и остался казак после дальней годовой службы без денежки в кармане на прежнем половинном жалованье. Большой, без гульного отпуска, был поставлен в караульные службы, на которых разве только с голоду не помрешь.

– Семейка не пропадет – хозяин! – опять усмехнулся Стадухин. – Нынче живет с Абакандой, пестует якутенка. Корову купил с половинного-то жалованья, да при гарнизоне...

Дежнев непринужденно рассмеялся, откинув голову.

– Не случилось ли с Ариной разлада? – пристально глядя на Михея, спросил Попов. – Так хорошо жили, душа радовалась, глядя на вас.

– С чего бы? – насторожился Стадухин.

– Подошел к костру, глаза злющие, лицо сикось-накось!

– Пока я ради правды ходил в Илимский, Васька Поярков отправил морем на устье Индигирки Федьку Чурку со служилыми, торговыми и промышленными. Я с Федькой в Енисейском гарнизоне служил. Теперь понимаю, что Васька выпроводил меня с умыслом, чтобы не пустить на прииск новых земель. Постник Губарь неделей раньше нас получил наказную память, ушел на Яну. Без меня!

– И слава богу! – стал утешать его Федот. – Тебе же Господь дал покладистую красивую жену?

– Жену дал, – натянуто улыбнулся Михай, глаза его поблекли, подобрели, сам обмяк, не уловив в голосе приказчика насмешки. – Теперь дом строить надо. А при остроге жалованье только на прокорм. В хорошем походе, бывает, за зиму богатеют...

Семен Шелковников, не слушая рассказов о дежневской службе и венчании, смотрел на угли костра остекленевшими глазами. Едва затянулась пауза, пробормотал:

– Ну и что с того, что народу много? Это хорошо!

На стане мало кто понял, кому он говорит и зачем. Но Семен уставился на Ивана Москвитина, желая продолжить прерванный рассказ.

– Что с них, диких, взять? Поставил бы острог крепкий. Придет время, поймут выгоду, благодарить станут, что силой подвели под государеву руку.

– Говорил я так воеводам, – обиженно заводил носом Иван. – Всего-то полсотни служилых надо, чтобы был порядок. Кормов много... Как-то невод бросили – вытянуть не смогли, резать пришлось, освобождая от улова. И рыба большая, такой в Сибири нет...

– А воеводы что?

– Воеводы? – презрительно скривил губы Москвитин. – Им Лама не нужна, им нужен Парфен Ходырев. Огнем пытали и против него, чтобы обвинить, и за него, чтобы оправдать. Головин обвинял Ходырева во всех смертных грехах, Глебов его оправдывал, а я перед ними

с вывернутыми руками и с окровавленной спиной. – Москвитин злобно усмехнулся, махнул рукавом по носу. – Спорили меж собой, спорили, Головин как заорет: «Не с того ли жаль вам Ходырева, что я ныне про его воровство сыскиваю, а вы от него имаете посул? И взяли уже с Парфенки тысячу рублей?» Вскочил с кресла да Матвея Глебова – стольника, как треснет по голове ларцом, в котором государева печать. Тот повалился на лавку. Головин давай его бить, а дьяк Филатов насел со спины и оттягивал его за волосы, а Васька Поярков разнимал. – Москвитин мотнул головой с вытвистыми глазами, горько добавил: – Такими дал мне Господь увидеть ваших воевод!.. Хоть бы меня развязали, потом дрались.

– Вот ведь, Парфенка, сын бесов, – удивленно ругнулся Стадухин. – Уже и царского воеводу подкупил.

– Помянете еще своего Парфенку добрым словом! – вытягивая к огню ладони, пригрозил Москвитин.

Собравшиеся у костра смущенно притихли.

На другой день усовские приказчики опять пошли в съезжую избу и были поставлены перед Петром Петровичем Головиным. Главный якутский воевода-стольник ласково принял их поклоны, расспросил о товарах и даже посмеялся над купцом Усовым, что зловерный промышленный человечиска Хабаров привез товара в Ленский острог вдвое больше, чем именитый гость царской сотни.

– Еще и меня, главного воеводу, лаает, что не даю ему с Ходыревым всю Сибирь под себя подмять.

Увидев Головина в добром расположении духа, Попов осторожно заметил, что видел бывшие хабаровские поля по Куте. Посетовал: «Хорошо бы иметь свой хлеб на Лене».

– Важное, государево дело! – согласился Петр Петрович. – Оттого и велел я выпустить буяна под залог. Смутьян, но хозяин и польза от него. Просит землю по Киренге – дам! Соль для него самого с бывшей его солеварни дозволил брать, – говорил воевода, оглаживая бороду, любуясь своим добросердечием.

Раскосый мужик в долгополой льняной рубахе, с большим кедровым крестом на груди то забегал в дом по какой-то надобности, то выскакивал из него, то, схватив метлу, начинал скрести возле печи и всякий раз подталкивал приказчиков с места на место. Бросив подметать, поднес воеводе квас в кружке.

Набравшись духа, Федот Попов попросил за Ивана Москвитина:

– Не знаю, тяжки ли вины его, друг-товарищ юности. Мы ведь с ним промышляли соболя на Нижней Тунгуске, когда здешние народы про русского царя не слыхивали.

Сказал и почуял, как под боком опасно засопел, заелозил сапогами Лука. Тень набежала на лицо главного воеводы, глаза гневно блеснули.

– В том его вина, – сказал грозно, – что покрывает и сына боярского Ходырева, и атамана Копылова. Неужели томским да красноярским казакам нет служб возле своих острогов, что они заводят порядки на Лене и Алдане?

Федот почтительно склонил голову, соглашаясь, что вина на друге есть, и больше не упоминал о нем. Остыв от мимолетного гнева, воевода спросил приказчиков, при остроге ли они намерены торговать или где-то в другом месте.

– Осмотримся, решим, – уклончиво ответил Федот. – Скорей всего, придется и промышлять, и торговать на дальних окраинах.

Воевода милостиво отпустил приказчиков, но не успели они отойти от съезжей избы на десяток шагов, их догнал раскосый мужик, мельтешивший при воеводе, пристально и нагло глядя в глаза Федоту, потребовал сто рублей на устройство тюрьмы. Попов поскоблил щеку под стриженной бородой, вынул кошель из-под полы и высыпал на ладонь десять битых ефимков.

– Все, что имеем. Не расторговались еще, – пожаловался.

Мужик без благодарности сгреб деньги и шмыгнул за стену избы. Сиверов всхлипнул:

– Нам так вовек долгов не выплатить! Столько уже истрчено в пути!

Федот ниже опустил голову, пожал плечами, пробормотал, оправдываясь перед связчиком:

– Хабаров отказал. Дорого ему обошелся отказ. Авось все окупится.

Лука некоторое время обиженно молчал, разглядывая работных и служилых людей, расшаривших острог, потом решительно заявил:

– Лучше синица в руке, чем журавль в небе! – Не поднимая глаз, развернулся и, сутулясь, зашагал к торговым рядам Гостиного двора.

После полудня на стан пришел Иван Москвитин с красноярскими казаками Втором Гавриловым и Андреем Горелым. Оба были его товарищами по последнему ламскому походу. С ними он строил новый государев острог, дожидаясь воеводского суда и московского развода по походам атамана Копылова. Головин освободил Ивана из тюрьмы, но отпускной грамоты ни ему, ни его казакам не давал, вынуждая служить при гарнизоне. Среди суетившегося народа Москвитин отыскал Федота, глаза его блестели, как в далекой юношеской поре.

– Пантелей Демидыч зовет на питейный двор! – Обернулся к Гаврилову с Горелым. Их уже окружили поповские своеуженники, расспрашивая о Ламе. Иван весело отмахнулся: – Пускай поговорят! – На пару с Федотом стал искать Семена Шелковникова. Тот бездельничал, досадуя, что его не принимают ни воеводы, ни письменные головы, не мог понять, отчего их дворня поглядывает на него злобно и насмешливо.

– Суета сует! – проворчал, поднимаясь навстречу старым друзьям. – Чего-то бегают, кричат!

Трое старых друзей отправились на питейный двор, который был и здесь откуплен ловкими торговцами. Время больших барышей ушло: одни люди пропились и работали на поденщине, другие разбрелись на промыслы. Семен, презрительно озирая толпы служилых и гулящих, вполголоса поругивал здешние порядки. Похоже, он уже жалел, что приплыл сюда, чтобы упредить «слово и дело» придурошного усть-кутского сплетника.

– Кого-то все бегают, ругаются!.. Казака Пашку Левонтьева знаете?

– Который на Николу Угодника похож? – рассмеялся Москвитин.

– Его! – проворчал Семен. – Давеча на литургии черные попы стали ругать служилых, что притесняют диких, вместо того чтобы лаской призывать к вере. А он им: «Ваше монашеское дело свои души спасать да за нас, грешных, молиться, а вы в мирские дела лезете, властвовать хотите!» Поп, который у них за главного: «Кто сказал?» Пашка ему: «Я!» – «Выдь из храма!» Пашка ему: «Я этот храм строил, а потому – не тебе, пришлому, указывать в нем!» Служилые тоже зароптали: «Кто-де вы такие, нас гнать из нашей церкви?» – А, тьфу! – Семен сплюнул под ноги. – Даже во храме Божьем суета!

Кабак был полупустым, а цены на горячее вино, брагу и сусло оставались впятеро выше енисейских.

За выскобленным столом сидел Пантелей Демидович без шапки, с седыми волосами, рассыпавшимися по плечам и спутавшимися с белой бородой. Рядом с ним Михей Стадухин, дальше – его улыбчивый земляк Семейка Дежнев, напротив – Ерофей Хабаров. Все о чем-то неторопливо беседовали. Федот замялся в дверях: он предполагал поговорить со старым Пендой, но возле него собралось много людей.

Увидев вошедших, Пантелей махнул рукой, приглашая за стол. Трое перекрестились на закопченный образ, подсели на лавку. По лицу Хабарова Федот понял, что прервал его на полуслове. Окинув пришедших небрежным взглядом, Ерофей сбил на ухо соболью шапку и, обернувшись к Стадухину, со злостью заговорил:

– Да ты перед ним, должно быть, на брюхе ползал, иначе не выпросил бы дальнюю службу. Я же Христа ради, – перекрестился, смахнув шапку с головы, – правду в глаза говорил...

Ломая бровь и вздувая грудь, Стадухин отвечал:

– У тебя одна правда – мощну набить. Ты Бога-то не гневи, призывая во свидетели.

– Ишь! – переводя глаза с Попова на Шелковникова, пояснил Хабаров. – Не успел приплыть в Ленский, уже выхлопотал дальнюю службу.

– Куда? – через стол спросил Федот.

– Ленские ясачные якуты откочевали, по слухам, на Оймякон – это где-то встреч солнца от устья Амги, места дальние, никто из промышленных и служилых людей там не был. Воевода велел вернуть беглецов и подвести под государеву руку тамошние народы, – обстоятельно отвечал Михай, косясь на Хабарова. – Прошлый год Поярков послал за беглецами казака Елисея Рожу с людьми. Нынешним летом они вернулись с Амги побитыми.

Федот кивнул, не совсем понимая, где Оймякон.

– Весной пойдешь? – спросил.

– Соберусь и уйду нынче, на конях. Пойдешь со мной своим подъемом? – спросил, в упор глядя на приказчика. – На новом месте товар, бывает, втридорога уходит.

– Я вызнал, что тут и к зиме коня не купишь дешевле, чем за двадцать пять рублей, – посмеялся Попов. – А мне их надо десяток. За эти деньги я три коча построю и продам с прибылью.

– Хороший купеческий коч в Ленском рублей двести, – поддержал его Пантелей, сдержанно молчавший при разговоре. – Казенные, худые, – пятьдесят-шестьдесят.

– Думай, холмогорец! Охочих много! Семейка, хромой, бедный, и то слезно просится и Гришку Простоквашу за собой тянет, – кивнул на Дежнева, – Пантелей Демидыч со мной идет, Ивашкины товарищи, – перевел взгляд на Ивана Москвитина.

Федот вскинул глаза на старого промышленного:

– А я думал звать тебя плыть дальше по Лене.

– Я ее всю прошел с Ивашкой Ребровым, – равнодушно ответил Пантелей. – На Оленеке промышлял, на Яне, Индигирке. Другой раз идти туда не хочу.

– Моих друзей берешь, а меня у воеводы не выпросишь? – Москвитин обидчиво прищурился, тоскливо взглянул на штоф и вздохнул: – Хоть куда ушел бы, одолжившись под кабалу, лишь бы подальше от стольников! Иначе придется махать топором за прокорм.

– То не просил? – налившись краской, рассерженно рыкнул Стадухин. – Едва не вытолкали из съезжей...

На столе стоял непочатым штоф стоимостью не меньше двух рублей, стыла печеная нельма на берестяном блюде. Половой принес и поставил перед подсевшими еще три чарки, надеясь, что стол разгуляется хотя бы на полведра. Но собравшиеся только говорили, не прикасаясь ни к вину, ни к закуске.

– Я нынешний год никуда не пойду! – с важным видом продолжал рассуждать Хабаров, и Федот понял, что он за этим столом не случайный человек. – Мишка, – кивнул на Стадухина, – зовет на Оймякон, воевода дает землю по Киренге вместо отобранной. Там лучше! На Куте сколько засеял ржи и пшеницы, столько его люди собрали. Но упорствует стольник, чтобы я отсыпал в казну с пятого снопа. Хрен ему в бороду! С десятого можно. И зерно на посев мое. Мне его посулы без надобности.

– Сколько соболей обещал в казну? – спросил вдруг Стадухина.

– Сто! – напрямик ответил тот.

– А вернуться когда?

– К Троице!

– Денег дам до Троицына дня без роста! – ухмыльнулся и плутовато прищурился Хабаров.

– Пятнадцать пишем, десять даем? – насмешливо торгуясь, спросил Стадухин.

– С пятидесяти по пяти!

– Так еще по-божески! – потянулся к штофу казак, чтобы разлить по чаркам за уговор. – Подумаю, вдруг найду кто даст выгодней... Пока Головин у тебя всех денег не отобрал, – язвительно хохотнул.

«Чудны дела Господни!» – насмешливо поглядывая на собравшихся, думал Федот Попов. Не в церкви, в кабаке происходил зачин на выбор судеб сидевших здесь людей.

Из другого угла пристально, не мигая, на них смотрел какой-то пропившийся ярыжка с голыми плечами. Федот раз и другой обернулся на его слезливый взгляд. Глаза пропойцы будто липли к лицу, но не было в них ни униженной просьбы, ни холуйского умиления, не было злости или зависти, разве любопытство да глубокая, лютая тоска-печаль.

Не удержавшись, Федот снова повел глазами в его сторону и опять натолкнулся на такое сочувствие, от которого у самого едва не навернулись слезы.

– Чего пялится? – сердито заерзал на лавке Семен Шелковников. – Должник твой, что ли? – гневно спросил Хабарова.

Тот обернулся всем телом, грозно взглянул на пропойцу. Глаза ярыжки не мигнули, не дрогнули, лицо никак не переменялось.

– Опохмелиться желает! – самоуверенно буркнул Ерофей.

Москвитин помалкивал, глядя, как Стадухин разливает вино, Дежнев смущенно улыбался, Пантелей Пенда степенно молчал, Хабаров весело и зло балагурил.

Они еще не выпили во славу Божью, только потянулись к вину. Федот краем глаза уловил, как пропившийся поднялся с чаркой в руке и осторожно, будто боялся расплескать ее, двинулся в их сторону, без приглашения подсел на пустующее место с краю и поставил на стол чарку, которая оказалась больше чем наполовину наполненной вином.

– Чего тебе? – скривил бровь Хабаров, ожидая просьб, перекрестил бороду и влил в рот вино.

Попов тоже выпил, крикнул, перекрестился, приветливо взглянул на пьянчужку, переводившего глаза с одного на другого. Взявшись за штоф, хотел уже плеснуть ему, но тот закрыл чарку ладонью и мотнул головой.

– Не надо вашей, горькой, – пробормотал, икая. – Бедные вы, бедные!

– Чего мелешь, полудурок? – цыкнул на пропойцу Хабаров.

Распахнулась тесовая дверь, вошел тобольский казак от новой власти, Курбат Иванов. Важный и кочетоглазый, строго оглядел сидевших, небрежно поманил полового, стал громко выговаривать, чтобы слышали все:

– Указом воевод наших – зерни и блядни по кабакам не держать. Кто начнет ночами из своих подворий ходить и ночевать безвестно и рухлядь какая новая объявится в ночных приносах, с тех сыскивать строго!

– Не тебе нам об этом говорить, сын блядин! Кто ты на Лене и кто мы? – выкрикнул Хабаров.

Курбат не снизошел до склоки, бросил на него снисходительный взгляд и повернулся, чтобы выйти.

– Не ругай бедного, – всхлипнул пропойца. – Он много чего государю выслужит, а награды батогами. Забьют до смерти! – Пьянчужка икнул, дрогнув всем телом, слезы покатались по воспаленным щекам. – Бедные вы, бедные!

– Ты хоть знаешь, с кем сидишь, полудурок? – прикрикнул на него Хабаров.

Тот мотнул головой и качнулся, едва не соскользнув с лавки.

– Знаю только, что сейчас вы рядом, – указал глазами на Ивана Москвитина, – а скоро друг в друга из пушек стрелять будете. И ты, – поднял больные глаза на Хабарова, – за все свои заслуги великие помрешь в нищете и долгах!

– Кто я – тебе безвестно, а то, что когда-нибудь помру, – знаешь? – стал забавляться Ерофей.

– Да! – кивнул пьянчужка. – На печке помрешь, в чине сына боярского, в долгах и бедности.

– И с чего же, дурак, мне, промышленному человеку, дадут средний чин? – расхохотался Ерофей.

– Не знаю! – изумленно уставился на него пропойца, снова икнул, смахнул со щек слезы.

– На печи, говоришь, да еще на своей – это хорошо! – повеселев, расшалился Ерофей.

– Почто вам такая награда за все ваши труды и муки? Один только отойдет к Господу возле родины, в разрядном атаманстве, в славе и достатке. А намучается-то, не приведи Господи! – скользнул воспаленным взглядом по Стадухину и затряс плечами, будто сдерживал рвавшиеся рыдания.

– Почему знаешь? – неприязненно процедил Москвитин, шумно вдыхая после выпитого.

– Открылось вдруг, – опять содрогнулся пропойца. – И тебе не будет награды...

Про Москвитина знали многие в остроге и сочувствовали ему. Слова пьяного Ивана не удивили.

– И про меня открылось? – спросил Пантелей Пенда со щербатой улыбкой в белой бороде.

– Открылось! – кивнул ярыжка. – Найдешь свою землю и слезами ее окропишь, яко Иов тела сыновей своих.

Перевел глаза на Попова, но тот замахал руками:

– Ступай с богом! Не надо мне твоих слов.

– За то и выпьем! – хохотнул Хабаров. – Ладно, до самой старости доживу, наверное, и помру не от голода.

– Эй, гуляка! – окликнул ярыжку Семен Шелковников. – Долго ли мне в целовальниках ходить?

Пьянчужка неспешно обернулся к нему, мигнул, блеснув размытой, мутной слезой, ответил со всхлипыванием:

– Последний день! В казачьем чине город заложишь на краю земли и помрешь там.

– Тьфу на тебя! – выругался и перекрестился Семен.

– Не ошибся! – громче захохотал Хабаров. – Все когда-нибудь помрем. Или я вечный? – спросил со скomorошьей строгостью, думая, что тот уже забыл, о чем пророчил.

– Нет! – все так же печально пролепетал пьяный. – На печке отойдешь к Господу, в своей деревеньке.

– Слыхали! – Забавляясь, Хабаров с важностью обвел собравшихся смешливыми глазами.

С другого края стола на пьяного с любопытством поглядывал Семейка Дежнев, но никак не мог поймать его скользкий взгляд, а сам заговорить не решался. Стадухин глядел на ярыжку строго и важно, до вопросов не снисходил, уверенный, что напроороченное одному из сидевших разрядное атаманство и достаток – это его, Мишкина, судьба.

Время шло, разговора, которого ожидал Попов, не получалось. Впрочем, и того было достаточно: Пантелей Демидович с ним не останется, а мог бы быть передовщиком в его ватаге. Ясно было и то, что со Стадухиным он, Федот, со своим товаром неведомо куда, да еще на лошадах, не пойдет. Федот накрылся шапкой и тихо вышел из кабака.

«Спаси Бог друга Семейку, что надоумил поменять добрый коч! – с благодарностью подумал о Шелковникове, крепче утверждаясь в решении плыть дальше. – А зимовать придется в Ленском».

Уже на другой день на усковский стан пришли приставы от воевод за Семеном Шелковниковым.

– Слава богу! Вспомнили! – обрадовался целовальник усть-кутский солеварни и бросил в сторону лопату, которой долбил яму под землянку в промерзающем берегу. Усовские при-

казчики и своеуженники готовились к зимовке. Он помогал им, ожидая, когда о нем вспомнят в съезжей избе.

Осенние дни коротки. Возле острога и на берегу реки еще в сумерках начинали стучать топоры да заступы. Возле острожных дымов и костров сновали озабоченные делами люди, расширяли стены, копали ров, ставили надолбы для защиты от конницы. В двадцати верстах выше по течению реки, на другом берегу Лены по указу Головина закладывался новый государев острог, за один только казенный прокорм там уже строили третью тюрьму и пыточную избу.

К вечеру на усовский стан пришел пристав, сказал Федоту Попову, что Семейка Шелковников посажен в тюрьму и просит передать парку с меховым одеялом. Федот завернул в одеяло каравай хлеба. На душе было тревожно, и позавидовал он Михею Стадухину с его четырнадцатью казаками и промышленными людьми, которые уходили в неведомый край.

Покрученников Михей не брал. Все его казаки и промышленные уходили своим подъемом, в большинстве одалживаясь у торговых людей. Немногие расплачивались за снаряжение мехами, добытыми в прежнем походе. Все богатство, добытое Пантелеем Пендой за семь лет скитаний, было потрачено им на сборы и все равно не хватило десяти рублей ходовых денег. Старый промышленный тоже выдал на себя кабалу.

Лука Сиверов торговал на пару с Емелей, племянником Федота Попова. Веселый, рыжий, рот до ушей, он зазывал покупателей одним своим видом. Народу же возле острога становилось все меньше, и это тревожило торговых людей. Четыре сотни служилых, прибывших с воеводами, как-то незаметно растеклись по зимовьям и улусам. При гарнизоне их оставалось меньше полусотни.

Перед самой шугой по выстывавшей реке с густой, тягучей водой после многолетнего плавания в Ленский острог вернулся казак Иван Ребров. Он открыл морские пути на Оленек и Индигирку – те самые, на которых прежде него побились суда многих неудачливых промысловых ватаг.

Спасшийся в таком походе торговый человек Епифан Волюнкин был в большой вере у главного воеводы и уверял, будто морем на восход пути нет, что там круглый год льды. Теперь, после возвращения Реброва, Волюнкин говорил, что Ивашке правил черт или водяной дедушка. Но купцы и торговые люди почитали Реброва за святого. Его рассказы о морских и речных скитаниях, о народах по ту и другую сторону от Лены собирали по пол-острога слушателей.

Наконец река, поскрежетав шугой, салом и отдерными льдинами, встала. Из ближайших улусов то и дело возвращались служилые, ходившие за ясаком. Новости, которые они привозили, настораживали. По их рассказам, среди ясачных якутов появились признаки смуты.

По слухам, ходившим среди приострожного сброда, воевода Головин приказывал казакам, отправляемым в улусы, переписывать ясачных мужиков, их сыновей, рабов-боканов и скот, которым якуты владели. Старые казаки, служившие на Лене со времен Бекетова и Галкина, узнав об этом, предрекали от переписи бунты и воины. Когда заговорили о признаках смуты, их выборные люди пошли к воеводам.

Головина в старом Ленском остроге не было. Казаков встретили воевода Глебов и письменный голова Бахтеяров. Они подтвердили, что Головин по царскому указу отправил служилых переписывать якутских мужиков, боканов и скот. Старые казаки стали собирать круги и, дождавшись возвращения Головина, отправили к нему выборных людей, среди которых были уважаемые всеми Иван Ребров и Родька Григорьев.

Воевода-стольник посмеялся над их опасениями, заявив, что якуты одного имени его боятся и не посмеют бунтовать. Казаки стали убеждать его отложить перепись на другое время, поскольку нынче есть приметы к шаткости. Не только старые казаки, но и преданные воеводам якутские князцы-тойоны Логуй и Ника говорили, что у якутов ум худ, переписи они боятся. Но Головин вдруг рассердился, стал кричать, что здесь, на Лене, одна правда – его, и выгнал

всех. А Родьку Григорьева, говорившего больше других, пообещал вразумить кнутом: бунты, дескать, ты сам и заводишь...

С каждым днем все крепче становились холода, все плотней сгущались тучи на низком небе. Как-то само собой получилось, что торговые и служилые люди перестали обращаться к воеводе Матвею Глебову, к дьяку Филатову и к письменному голове Бахтеярову. Без всяких указов главным в правлении воеводством стал Петр Петрович Головин, при нем стали выдвигаться письменный голова Василий Поярков да сын боярский Алексей Бедарев, давно и незаметно служивший на Лене. Вдруг стали входить в силу и другие неизвестные прежде служилые: Васька Скоблевский, Данилка Козица. Среди торговых людей всеми делами стал заправлять гусельниковский приказчик Михей Стахеев. С ним торговые мирились по прежним заслугам, но не могли понять, какого рожна получили неограниченные права, заняли лучшие места в торговых рядах Епишка Волынкин и Матвей Ворыпаев. Все воеводские дела стали вершиться только через их людей: как они нашептывали Головину, такие решения он и принимал.

Но даже их, воеводских ушников, пугали новости из улусов. Возвращавшиеся оттуда служилые говорили, что якуты стали заносчивы и непослушны, будто нынче мирятся между собой непримиримые прежде роды. Много слухов было о приближении к острогу левобережных племен.

Но Головин никому не верил, считая доклады служилых кознями старых казаков, Матвея Глебова и черных попов. Приезжавших в острог якутов он велел кормить и поить по-прежнему, те точней и подробней доносили о сговоре сородичей против казаков, о нападении на промышленных людей, но и они не могли убедить воеводу Головина не спешить с исполнением царского указа о переписи. От советов окружения главный воевода отмахивался, дескать, в мыслях своих все ясачники думают об измене, но боятся.

Вопреки общим опасениям, на Рождественской святочной неделе он стал заводить пиры при съезжей избе. За них платили приглашенные, а не явиться нельзя было без наказания или отпущения. Гости веселили воеводу: по его указу дрались на деревянных мечях, напивались до беспамятства, а после, обласканные Головиным, шлялись по острогу, бражничали, избивали неугодных и опальных.

Лука Сиверов, как змей на сковороде, крутился среди ушников и обласканных и как-то умудрялся оставаться в стороне от неугодных, не выходя в доверенные люди. Худо-бедно, но он торговал и зимовал с прибылью, а Федот Попов уединился на стане, во всем полагаясь на него и племянника.

Беда не заставила себя ждать. В острог стали возвращаться побитые переписчики с вестями о бунтах в улусах. Обозлившись на казаков, объединялись прежде воевавшие между собой якутские роды и племена. В начале второй Святочной недели послухи и очевидцы прискакали с вестью, что восставшие уже в трех верстах от Лены с войском до тысячи человек.

Торговые люди спешно переносили товары за частокол. Среди студеной ночи, когда от холода с грохотом трескался лед реки, караульные казаки кликнули: «Сполох». В ворота острога уже колотили пятками и громко вопили под стенами торговые, промышленные и рабочие люди. Воеводы, письменные головы, казаки вышли на стены и увидели, что острог окружен заревом костров.

Срочно стали считать людей, способных к обороне, провели смотр гарнизона. При остроге оказалось всего сорок служилых, три десятка торговых и промышленных людей. Во время смотра Головин стал кричать, что якутская измена учинилась из-за Матвея Глебова и Евфимия Филатова, которые учили якутов бить служилых людей и целовальников, грабить и бежать на дальние окраины воеводства. В пособничестве Глебову он прилюдно обвинил своего исповедника черного попа Симеона и черного дьякона Спиридония.

За черных попов вступился было сын боярский Григорий Демьянов. Головин ударил его чеканом по голове, велел подручным отстегать служилого батогами и отволочь в тюрьму. К утру в ту же тюрьму был брошен письменный голова Еналий Бахтеяров со всей семьей.

Осаждавших действительно было до тысячи всадников, вооруженных луками и пальмами. Ни они, ни осажденные не решались нападать первыми. Но якуты с каждым днем теряли силы: их кони перекопытили землю вокруг острога и доедали остатки сухой травы. На их стадах стала разгораться прежняя межродовая усобица. Через неделю из собравшегося войска не осталось и половины. В очередной раз перессорившись между собой, нападавшие стали разъезжаться по улусам, надеясь самостоятельно защититься от казаков. Зарево костров за стенами острога уменьшалось на глазах.

Головин торжествовал и еще ожесточенней продолжал следствие над неугодными. Под домашний арест был взят дьяк Филатов. В пыточной избе перед креслом главного воеводы на поперечной балке висел с вывернутыми руками Семен Шелковников. Сквозь спутанные волосы и бороду глаза его угольями жгли стольника, а тело уже не содрогалось от кнутов Василия Пояркова.

– При Хабарове на солеварне с выварки соскребалось по полтора пуда соли, при тебе по пуду, – в десятый раз пытал целовальника воевода. – Кто тому подстрекатель: Хабаров или Бахтеяров?

Семен скрипел зубами, с ненавистью глядел на воеводу и молчал, трижды ответив перед тем, как при нем делался соляной рассол.

– Значит, дьяк Филатов?

– Семейка Чертов, за кружку браги брал треть варки! – просипел целовальник, шепелявя разбитыми губами.

– Огня ему под живот! – закричал Головин. – Смеяться над государевым стольником?...

За острогом из стана осаждавших ушли последние тойоны, бросив безлошадных бунтовщиков. Кто не успел убежать – тех переловили служилые. По приказу главного воеводы они и промышленные громили якутские крепости по улусам, вели в острог пленных.

Выбрав лучших из них, Головин велел для устрашения повесить на надолбах два десятка мятежников, других бил кнутами, допытываясь, кто из служилых подстрекал к бунту. Тела умерших от пыток повесили рядом с казненными. Бунт был подавлен. Головин ласкал верных ему тойонов, продолжал дознание среди служилых, торговых и новокрестов. Тюрьмы были переполнены.

Острог притих. Промышленные люди обходили его стороной, торговали только те, кто был в вере у главного воеводы: Матвей Ворыпаев, люди купцов Василия Гусельникова, Василия Шорина, Кирилла Босова. На удивление Федоту Попову, в их числе как-то держался Лука Сиверов.

Еще до осады острога бывшие в немилости торговые люди сговорились со вскрытием реки плыть в низовья Лены. Купец Андрей Дубов строил, а Федот Попов имел коч. Вокруг них стали объединяться торговцы помельче. Опальный мореход Иван Ребров примкнул к ним, возмущаясь, что после семи лет воли на дальних службах полгода отдыха в Ленском остроге оказались для него тюрьмой.

После осады и расправы над бунтовщиками Дубов, сумевший не провиниться в глазах главного воеводы и его ушников, сходил на поклон и выпросил наказную память торговать и промышленять на Оленеке под началом служилого Ивана Реброва.

Федот Попов предполагал зарабатывать на всем: торговать, промышленять рухлядь и ловить рыбу на продажу. Тут между ним и младшим приказчиком Лукой Сиверовым произошел тихий разлад. Лука желал торговать при остроге, а со временем надеялся возить сюда рожь.

Приказчики поделили товар купца Усова и бывшие у них деньги. Попов взял на себя три четверти, Сиверову досталась четверть. При рукобיתье они составили грамоту, что с купцом Усовым каждый держит расчет по отдельности.

Отпускную грамоту Федот Попов получил от таможенного головы Дружины Трубникова и с нетерпением ждал, когда очистится река, чтобы спустить на воду свой добротный коч, груженный товаром на тысячу двадцать пять рублей. С Федотом уходили в плавание племянник Емелька Степанов, пять прежних своеуженников и двадцать три покрученника, набранные из гулящих людей, готовых идти хоть к чертям за их меднокаменные ворота, лишь бы подальше от воеводской власти.

Едва сошел лед, три купеческих коча под началом Ивана Реброва были готовы к отплытию. Последнюю новость из острога принес Андрей Дубов. Он ездил звать попа для молебна, но вернулся один. Воевода Головин засадил под домашний арест стольника Глебова, дьяк Филатов из домашнего ареста был брошен в тюрьму. Все черные попы и дьяконы сидели там же, службы в церкви прекратились, и только на крестины или отпевание усопших приставы приводили из тюрьмы закованного в цепи иеромонаха, который делал свое дело, погромыхая железом. Торгово-промысловому отряду Ивана Реброва пришлось идти в плаванье без молебна о благополучном отплытии.

Федот Попов плюнул в сторону острога и выругался. Река, на которую он попал в молодости одним из первых русских людей, степенно понесла его коч в полуночную сторону, к Студеному морю.

3. Великий Камень

Той осенью, когда из-за указа о переписи ясачного населения начиналась очередная ленская смута, Михей Стадухин шел к восходу от Алдана на неведомую реку. В прошлом туда самовольно откочевал род ленских якутов, за ними был послан казак Елисей Рожа с небольшим отрядом. Его люди встретили пограбленную ватажку торгового человека Ивана Свешникова, от нее узнали, что якуты и тунгусы в среднем течении Алдана убили тридцать пять служилых и промышленных, в устье Май еще двенадцать. Елисей Рожа со спутниками не отважился идти дальше и вернулся, оправдываясь перед воеводами, просил у них полсотни казаков для нового похода. Тут начальные люди острога вспомнили про Мишку Стадухина с его непомерным желанием отправиться в неведомый край, а он ухватился за намек о дальнем походе, как таймень за наживку, и заглотил ее до самых кишок.

– Обещаю в казну сорок соболей добрых! – дал посул в съезжей избе.

– Мало! – сморщил нос Бахтеяров. – Одни только вожи того стоят. Меньше сотни явить никак нельзя.

Лукаво поглядывая на казака и посмеиваясь, Еналий намекал, что нимало потрудился перед воеводами, расхваливая Михея.

– Сто так сто! – согласился Стадухин и сник, торопливо соображая, сколько же их надо добыть, чтобы отдать посул и расплатиться за снаряжение.

Его не смутило, что воеводы позволили взять в поход только четырнадцать казаков по своему выбору и своим подъемом. Получив дозволение на сборы, он вспомнил об Арине и на миг ужаснулся, что вынужден бросить ее среди незнакомых людей. Но неведомое, заветное так манило, что душа пела и ныла одновременно. Оставлю жену Герасиму: брат есть брат, решил он, не смущаясь их прежней связи.

Но Герасим с Тархом, узнав, что старший идет в дальний поход, стали проситься с ним: один торговать, другой промышлять. Не взять их Михей не мог, в суете сборов оправдывал себя, что все казачки ждут мужей со служб, Арине это не впервой. Останься он при остроге – все равно пропадал бы месяцами, за одно только жалованье разбираясь с обычными тяжбами якутов и тунгусов об угоне скота, разбое и межродовых обидах. А из дальнего похода можно вернуться богатым, построить дом. К тому же жена – не девка-брошенка, останется на его хлебном и соляном содержании. И все же мучила казака совесть, язвила душу.

Хоть бы и на дальнюю службу, а казаков, желавших идти на неведомый Оймякон, оказалось не так много. Из отряда Елисея Рожи не пошел никто. Михей позвал Ивашку Баранова с Гераськой Анкудиновым, проверенных в совместных службах казаков, но те отговорились, что собираются на Яну с сыном боярским Власьевым.

С Василием Власьевым Михей встречался на Куте и здесь, в Ленском, при съезжей избе. Знал, что воевода Головин проездом через Казань прибрал его в полк и Власьев с большим отрядом ходил с Куты в верховья Лены на братьев, а нынче получил наказную память идти в Верхоянское зимовье с пятнадцатью казаками на перемену Митьке Зыряну.

– Ничего не пойму! – затряс бородой Стадухин: его товарищи не могли испугаться сказок Елисейки Рожи. – На восход от Алдана никто не ходил, а Яна давно объясачена!

Иван Баранов насупился, попинывая ичигом мерзлую землю, шмыгнул носом, Герасим Анкудинов с чего-то обозлился, сверкнул глазами.

– Тебя обманули, как верстанного придурка, – презрительно сплюнул под ноги. – Власьеву казенных коней дают, хлебный оклад годом вперед! А тебе что?

Михей долго и тупо смотрел на казаков, накручивая на палец рыжий ус, соображал, что могло их злить. Поморщившись, досадливо оправдался:

– Так ведь на неведомые земли, чтобы подвести под государя тамошние народы... Ну ладно, не хотите на Оймякон – идите на Яну!

Из гарнизона с ним вызвались идти Ромка Немчин и Мишка Савин Коновал. Услышав про Оймякон, стали проситься половинщики: Семейка Дежнев и Гришка Фофанов-Простокваша.

– Ладно он, – Стадухин кивнул на Простоквашу, – ты-то куда, хромой?

– Что с того, что прихрамываю, от других не отстаю, – не смущаясь, отвечал Дежнев, глядя на земляка младенчески беспечными глазами. – А с тобой идти на конях, верхами. Сам сказал!

На конопатом, посеченном мелкими морщинами лице не было ни заискивания, ни просьбы, дескать, откажешь – от меня не убудет, а на тебе, земляк, грех.

– Не плачьтесь потом! – отмахнулся Михай, соглашаясь взять обоих раненых в предыдущем походе.

К нему примкнули томские и красноярские казаки Ивана Москвитина: в другие места их не пускали, а строить новый острог они не хотели. Ушел бы и сам Москвитин, но сыск по делу атамана Копылова не закончился.

Просился на Оймякон Пашка Левонтьев. Этот справный казак слыл на Лене за мученика от ума: подрезал бороду и волосы, стараясь быть похожим на святого угодника Николу летнего, без митры, в трезвости был молчалив и задумчив, всюду таскал с собой кожаную суму с Библией. Временами Пашка запивал и с причудой. Поскольку выносить вино из кабака позволяли только по разрешению приказного, Пашка, крестя бороду, опрокидывал в рот чарку и быстро уходил в уединенное место, где разговаривал сам с собой. Таким образом, он частенько пропивался, и потому искал служб подальше от кабаков.

Мишку Савина-Коновала Стадухин знал давно. У того и в молодые годы лицо было похоже на личину, вырубленную из смолевого пня, нынешним летом красы прибавилось: какой-то якут ткнул его пальмой² и от уголка рта к уху протянулся грубый багровый рубец. Коновал бездумно должился у торговых людей, стаивал на правеже. Найти заимодавца ему было трудно, но Михай ценил его как хорошего лекаря.

Казак Федька Федоров Катаев, брат небедного торгового человека, сдавленно похохатывая, спросил Михея, будто прокудахтал, не найдется ли и ему службы в оймяконском отряде.

– Почему не найдется? – взглядываясь в козы с придурью глаза, ответил Стадухин, торопливо прикидывая, что Федька обязательно нагрузится товаром, хоть царь и не велит служилым торговать. Этот указ обыденно нарушался, но при случае мог обернуться против атамана. Денег спутникам по походу Катаевы не дали, но Федька собирался своим подъемом.

Хлебный оклад годом вперед Стадухин все же вытребовал. Еналий Бахтеяров с прежними ухмылочками напомнил про обещанных соболей и дал ему двух якутских вожей, по слухам, знавших путь на Оймякон. Они были врагами самовольно откочевавшего рода якутского тойона Увы и считались надежными.

Казаки получили хлебное и соляное жалованье на себя, венчанных жен и прижитых детей. Кроме пропитания в походе каждому нужно было по две лошади, оружие, порох, свинец, прочая справа рублей на пятьдесят. Если красноярцы и томичи кое-что имели от прежних служб, то дежневский дружок Гришка Простокваша был должником, деньги нашел с трудом и меньше, чем надо. Ромке Немчину и Мишке Коновалу торговые люди и вовсе не занимали. Чтобы поддержать их, казаки решили взять общую кабалу.

Семейка Дежнев, Пашка Левонтьев, Втор Гаврилов, Андрейка Горелый привели торгового человека Никиту Агапитова. Глядя вприщур на известного ленского казака, купец согласился дать денег по общей кабале, если к четверым просителям примкнет сам Стадухин. До

² Пальма – нож на длинном древке.

весны, до Николы вешнего, давал без роста, а после – два годовых рубля с десяти. Кто вернется живым – с того спрос, перед кем кабалу выложат – тот платит.

Проще было с промышленными людьми. Желающих идти на неизвестную реку было много, надежных и проверенных – мало. Помимо казаков Михей набрал из них десять охочих людей, среди которых были крепкие своеуженники.

Герасим, глядя на сборы и долги, которыми обрастал старший брат, стал сомневаться, стоит ли идти в поход, дотошно выспрашивал служилых и промышленных, как и чем можно расторгнуться среди отложившихся якутов и дальних, не присягавших царю тунгусов. К тайной радости Михея, он стал склоняться отдать часть товара братьям и заняться рыбной ловлей со своеуженниками Федота Попова.

Старший Стадухин, волнуясь, хотел уже предложить Герасиму взять на себя опеку Арины, но он где-то что-то вызнал и заявил, что в Ленском ему быть – только проживать привезенное добро. Едва Тарх с Герасимом поняли, что должны взять с собой лошадей и пищали, младший опять стал донимать атамана расспросами, удивляясь непомерным ценам на здешних коней.

– Их тут больше, чем на Руси! – пытал Михея, будто подозревал в злом умысле. – Там за жеребца два с половиной аршина в холке просят два-три рубля. Здесь не кони – мохнатые карлы, голова огромная, брюхо до земли – рядятся по двадцать пять – по тридцать рублей...

– Тут пуд муки пять рублей! – не понимал замешательства брата Михей.

– Рожь, понятно, она на Лене не родится, а коней вон сколько. Вдруг где-то в улусе сторгуемся хоть бы по десять рублей?

Но старшему Стадухину было не до поиска, он носился по острогу и посаду, стараясь увести отряд до холодов. Кроме обыденных хлопот камнем лежала на сердце дума о жене: взять с собой не мог, оставить в остроге боялся. Когда Семейка Дежнев предложил поселить Арину с его женой Абакандой у якутского тестя Абачея, Михей от радости так притиснул земляка, что тот придавленно пискнул.

Доля казачки – годами ждать мужа. Арина сама выбирала судьбу, но при расставании заливалась слезами, как девка:

– Год выдержу, дитя под сердцем, – прижала руку мужа к животу. Михей, погладив его, приложился ухом. Ничего не услышал. – Задержишься дольше – заведу любовного молодца, – пригрозила, – не гневись потом!

Стадухин поежился, посопел, признался:

– Не могу служить при гарнизоне! Судьба мне стать знаменитым разрядным атаманом с жалованьем втрое против нынешнего. Ты уж потерпи. Тебе не впервой... Хотя в Томском, наверное, было легче, – обвел глазами якутскую юрту из жердей, обложенных дерном.

Вдоль наклонных стен были устроены нары, оконце затянуто бычьим пузырем, посередине горел очаг, дым щипал глаза и уходил чрез вытяжную дыру. Юрта была соединена крытым переходом с коровником. В ней сильно пахло скотом, но запах не был приторным. Мечталось Михею, чтобы его дети явились на свет в просторной русской избе, но с первенцем, похоже, не удалось.

– Потерплю! Потерплю! – обильно присаливая его бороду, шептала Арина. – Лишь бы вернулся цел. Молиться буду!

При проливных осенних дождях вода в Алдане поднималась несколько раз и за лето смыла следы прежнего бечевника. Берег был завален вынесенным с верховий плавником. Два с половиной десятка казаков и промышленных, два якутских вожа заново торили путь для коней и медленно, как бурлаки, продвигались вверх по реке. Лошадей жалели, не перегружали, верхом ехали только якуты.

Против устья Амги отряд застала шуга.

– Зимовье там было доброе! – указал за реку неторопливый, вдумчивый казак Втор Гаврилов. – Прошлый год якуты или тунгусы спалили. А то бы в баньке попарились.

Вскоре Алдан покрылся льдом, топкие берега отвердели, караван стал двигаться быстрее. Долина реки повернула на полдень, куда ходили атаман Копылов с Иваном Москвитиним. Томские казаки вспоминали свое зимовье, срубленное в устье Май. По слухам, оно тоже было сожжено. Пантелей Пенда, невольно слушая, как спутники бранят здешних якутов и тунгусов, молчал-молчал, неприязненно щурясь, да и выругался:

– Кабы служилые меж собой не дрались, и другие народы жили бы мирно.

В общие разговоры он не втягивался, равнодушно переносил тяготы пути, не ругался для поддержки духа, не ярился, как Мишка-атаман. Присматриваясь к нему после долгой разлуки, старший Стадухин удивлялся переменам. В верховьях Лены, еще слегка выбеленный сединой, он был разговорчив, светился изнутри, прельщал слухами о старорусском царстве, скрытом в тайге, весело уходил в неведомое с Иваном Ребровым. Теперь это был седой молчун с душой, запертой на семь замков.

Счастливые ночи, проведенные с женой, не прошли бесследно: способность старшего Стадухина чувствовать опасность сильно притупилась. Если среди осторожного многолюдья это было благом, то в походе пугало. Атаман выбивался из сил от настороженного волчьего сна, перессорился с доброй половиной отряда, беспричинно вскакивая среди ночи. Застав караульного спящим, бил, мешал отдыхать другим.

За месяц пути Божий дар стал восстанавливаться, Михей все реже проверял караулы, стал высыпаться, его затравленные глаза начали очищаться, отпускало постоянное раздражение. Но все равно он вставал первым, а ложился и утихал последним.

– Почечуй у него в задку или что ли? – ворчали за глаза казаки и промышленные, вымещая неприязнь на Тархе с Гераськой, на атаманском земляке Семейке Дежневе.

Пантелей Демидович, слушая их ропот и ругань, долго терпел и отмалчивался, прежде чем вступить:

– Кабы не Мишка, вас бы давно перерезали. Балует караульных, один за всех службу несет, а вы, на него надеясь, хотите Бога обмануть!

Первой пала одна из лошадей Пенды: не сдохла, но сломала ногу. Мишка Коновал ошупал ее, безнадежно шевельнул рубцом на щеке, мозолистыми пальцами погладил конскую морду. Старый промышленный без видимой скорби зарезал кобылку, мясо отдал в общий котел без платы. Но когда атаман стал распределять его груз по другим коням, начался раздор. Брать лишнего не хотел никто, а громче всех возмущались братья, жалея своих измотанных переходом лошадей. Герасим слезно отбrehивался, Тарх метал искры из прищуренных глаз, скрипел зубами, гонял желваки по скулам.

Предприятие было не только государевым, но и торгово-промышленным, а где торг и прибыль, там всяк сам за себя. Промышленные люди и половина служилых, поднимавшихся за свой счет, настаивали на порядке, чтобы мясо кобылы оценить по ленским ценам и кто его возьмет, тому вести груз по тем же ценам.

Пашка Левонтьев, кого-то смешивший в будничной суете похода, кого-то беспричинно сердивший, лежал в кукуле – мешке из оленьего меха, обнаженной лысиной к огню, до споров и распрей не снисходил, душевных разговоров не вел, но, полистав раскрытую Библию, поучительно изрек густым голосом:

– «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». – Полистал еще, не найдя ответа, как делить мясо и груз, перекинулся к костру боком, захлопнул книгу и положил себе под голову.

– Что сказал мир – то благословил Бог! – поддакнул Михей, благодарный Пашке за поддержку. Не желая противиться соборному решению, выругался:

– Жрать скоро станем врозь, каждый из своего котла!

Старый Пенда бросил на него сочувственный взгляд и сказал, что дарит мясо в общий котел, а за перегруз заплатит соболями. Михей сжал зубы, ниже опустил голову: братья своим молчанием принимали унижительное предложение. Лошадей берегли все – они достались дорогой ценой, но требовать плату за помощь товарищу ему было стыдно.

На другой день он стал жаловаться Пантелею на нынешние нравы, с тоской вспомнил времена войн при атаманах Бекетове и Галкине, когда все были за одно и всякий защищал товарища как самого себя, делился последним. А нынче даже неловко встречаться с тем же Ярком Хабаровым, с которым голодал в осаде и ходил на прорывы.

Пантелей безучастно отвечал:

– Давно ты не был на дальних службах. Люди сильно переменялись. От бесхлебья или от богатства, которое легко дается, оскудели душами: нынче кабальный кабального кабалит и ищет себе во всем выгод.

Михей разразился новой бранью, но старый промышленный с отрешенным лицом вел коня под уздцы и не проронил ни слова осуждения или согласия.

Когда не пуржило, на восходе из-за увалов едва не к полудню выползло холодное солнце с розовыми ушами. Ветер наметал острые снежные заструги под заломы и торчащие льдины. Наконец, якутские вожи указали устье речки, впадавшей в Алдан с восточной стороны. Берега ее были покрыты густым ивняком, по которому вести лошадей трудней, чем по бурелому. Речка вывела на каменистое, обдутое ветрами плоскогорье, которому, казалось, и конца нет. Здесь лошади пошли быстрой, а ночью хорошо выпасались, наедаясь сухой травой.

День убывал. На ночлег становились рано, долго обустроивали стан на холодной земле. Среди карликовых берез и стланца собирали много хвороста, подолгу жгли, прогревая неприветливую землю. Луна окольцованная радужным сиянием, серебрила равнину, вытягивая длинные тени. Подступы к табору хорошо просматривались, караульные, сидя спинами к огню, мучительно боролись со сном.

– У нас леса! – укладываясь на войлочные потники, вспоминал Семейка Дежнев, поглядывая на Стадухиных, взглядами призывал их в свидетели. – По Сибири тайга, не то что здешняя мертвая пустошь! Сюда, наверное, и волки не забредают. Какая тут рухлядь? – Подразнивал атамана, будто тот обещал ему богатство и легкую зимовку.

– Есть зайцы, куропатки! – хмурясь, обрывал беспутные разговоры старший Стадухин. – Дальше, к восходу, – вскинул бороду на вожей в парках-санаяхах, – говорят, есть головной соболь.

Будто в насмешку, в пяти шагах от костра из-за камня выскочил заяц, заверещал, заходясь лещачьим хохотом, прижав к спине уши, помчался во тьму. Не дождавшись погони, остановился, поднялся на задние лапы, заманивая в ночь. Мишка Коновал, кривя рваный рот, поднял лук, пустил в него тупую стрелу. Заяц подпрыгнул, вскрикнул младенцем, задрывал длинными задними ногами. Герасим принес его и стрелу. Мишка одним рывком корявых пальцев содрал шкуру, насадил тушку на прут, стал печь на углях.

Михей тоскливо наблюдал за братьями из-под прищуренных век, то и дело ловил на себе их укоризненные взгляды: куда, мол, ты нас завел? Озирая бескрайнюю равнину слезящимися глазами, иной раз начинали роптать и бывалые казаки. Из-за дороговизны ржи взяли ее втрое меньше нужного по енисейским меркам, надеялись на подножный корм, но здесь и зайцы с куропатками были редкой добычей.

Верст триста отряд шел горной пустыней. Оголодав, казаки и охочие решили зарезать самого слабого коня. Таким оказался мерин Герасима. Он соглашался, что животное со дня на день сдохнет и придется скверниться падалью, но, когда указали на нее, стал торговаться.

– Режьте! – приказал Михей, нахлестывая плетью по ичигу. Сдерживая гнев, отвел младшего в сторону, обругал, но вразумить не смог.

Казачьи и промышленные навязчиво расспрашивали якутских проводников о местах, куда они вели отряд, но те и сами не знали, есть ли в тамошних реках рыба, а в лесах зверь, слышали только, что скот выпасать можно. Им было известно от сородичей, что за плоскогорьем – ручей, бегущий летом встреч солнца. По нему ход на реку Оймякон.

– Раз якуты ушли туда с Лены, значит, места благодатные, – утешали себя путники.

Наконец, начался спуск в долину. Чаще встречались лиственницы в руку толщиной, среди них много сухостойных, дававших хороший жар в кострах. Выбеленная снегом трава была здесь выше, чем на плоскогорье. Якутские вожи уверенней повели отряд вдоль промерзшего ручья по желтой, обдутой ветрами долине. Время от времени они останавливали лошадей и к чему-то прислушивались.

Холода крепчали. В эту пору в Ленском остроге даже пропойцы не выползали из землянок без шубных кафтанов, здесь стужа была еще злей. В день явления иконы Казанской Божьей Матери промышленные и служилые сотворили утренние молитвы, очистили ноздри лошадей ото льда и ради праздника сидели у костров дольше обычного. Пашка Левонтьев, шмыгая носом и часто мигая слипавшимися ресницами, по слогам читал Новый Завет. Русские и якутские люди с молчаливым почтением слушали его и оглядывались на коней с заиндевшими мордами. Над ними курился пар, значит, в полную силу холода еще не вошли.

Хворост вокруг табора был собран и выжжен, надо было двигаться дальше. Отдав возможное празднику, все ждали атаманского приказа собираться в путь. Но старший Стадухин медлил, всматриваясь в причудливое облако, ползущее с низовий. Его не торопили, наслаждались теплом догорающих костров, жались к огню, монотонное бормотание Пашки убаюкивало. Никто, кроме атамана, не желал ни высматривать облако, ни вдумываться в смысл Завета.

Якуты лежали с таким видом, будто никуда не собирались идти. Непоседливый атаман окликнул их. Только после третьего подзыва они поднялись, переваливаясь с ноги на ногу, пастушьей походкой, подошли. Стадухин указал вдаль.

Сощутив глаза в щелки, якуты долго глядели, куда таращился «башлык». Наконец, старший, с волосатым подбородком и выбеленными инеем усами, разлепил смерзшиеся губы:

– Скот гонят!

К ним подошел Пантелей Пенда в волчьих торбасах и волчьей парке, шитой на сибирский манер вместе с шапкой, молча встал за плечом атамана, всмотрелся, прошепелявил в обледневшую бороду:

– Скот! Но чудно как-то.

– Не пасут, на нас гонят! – уверенней добавил вож.

Стадухин крикнул, чтобы люди ловили и грузили коней. Скот могли гнать только якуты, упорно вытеснявшие тунгусов с их промысловых угодий. Из-за этого между ними были постоянные войны с перемириями для торговли и обмена пленниками. В здешнем краю добывали руду, плавил и ковали железо одни только якуты, а нужда в нем была у всех.

Вскоре из студеного облака выскочил всадник на приземистой мохнатой лошадке и снова пропал. Затем показались быки, идущие впереди стада. Скорей всего, кочевал тот самый якутский род, что самовольно ушел с Лены, не выплатив ясак. Промышленные и служилые вьючили коней и собирали по стану последние пожитки, а Михей с Пендой и вожи все стояли и разглядывали долину.

– Похоже, гонят их всех! – буркнул в бороду Пантелей, резко развернулся и кинулся ловить своего коня. Якутские вожи, опасливо переминаясь на коротких ногах, впервые на пути от Ленского острога в один голос стали поторапливать атамана:

– Собираться надо, башлык!

– Идите! – отпустил их Стадухин, обшаривая глазами округу в поисках удобного места.

Предчувствие не обмануло его. Из пара, висевшего над стадом, выскочили два оленных всадника, пронеслись возле бычьих морд, размахивая длинными луками. Они явно пытались завернуть скот в другую сторону или повернуть вспять.

– Держи огонь! – сипло приказал Стадухин. – Готовь ружья!

Стрелки грели стволы, от углей костров зажигали трут, фитили держали за пазухой в сухих местах. Завьюченные кони, хоркая заледеневшими ноздрями, двинулись навстречу стаду и вскоре были замечены приближавшимися людьми. На запаленном коне к ним поскакал якут с пальмой в руке. Разворачиваясь в полусотне шагов, прокричал:

– Помогай хасак! – Повернул в обратную сторону и пропал с глаз в хмари, где уже виднелись головы равнодушно идущих быков и очертания носившихся вокруг них конных и оленных всадников.

– Пантелей Демидыч! – окликнул старого промышленного атаман. – Бейся с охочими по левую руку, я с казаками уйду вправо, – махнул, указывая место. – Надо пропустить скот и задержать тунгусов.

Пенда кивнул, услышав его. Герасим с Тархом потянули своих коней в другую сторону. Михей гневно взглянул на них, но прогонять братьев было поздно. На низкорослых мохнатых лошадаках якуты отгоняли наседавших тунгусов: стреляли в них из луков, размахивали рогатинами, громко кричали. Нападавшие верхами носились на оленях и ловко пускали стрелы между ветвистых рогов.

Чем ближе подходило стадо, тем отчетливей виделось, что происходило вокруг него. Около сотни пеших и конных якутов, баб с детьми, отступали, обороняясь. Тунгусов было больше, они мельтешили на оленях, как мухи возле тухлого мяса. Казаки дали залп, ослепив себя пороховым дымом. Едва он рассеялся, Михей увидел, что урон нападавшим нанесен небольшой. Неожиданно появившиеся казаки только удивили тунгусов грохотом пищалей. Те, что были ближе, отхлынули, но вскоре опять напали на якутов.

Пантелей Пенда заставил одного из промышленных отогнать груженных коней, сам с шестью товарищами дал залп с другой стороны пади. Привычные к огненной стрельбе якуты победно закричали, пешие побежали к казакам, конные носились вокруг сбившегося в кучу скота, загоняя его между служилыми и промышленными. За стадом, сколько хватало глаз, лежали туши побитых коров и бычков.

Тунгусы отступили на полет стрелы и съехались в толпу. Их разгоряченные олени гулко клацали рогами и громко хоркали. В центре что-то кричал и размахивал руками мужик в меховой парке, украшенной бубенчиками. Его густые распущенные по плечам волосы черными волнами свисали по груди и по спине.

– Главного надо убить! – просипел Семейка Дежнев. Его пищаль почему-то не прострелила заряд во время залпа. Он положил ствол на костыль, с помощью которого шел, тщательно прицелился, выстрелил. Рассеялся дым. Длинноволосый мужик, прежде сидевший на оленье, теперь стоял на ногах и все так же размахивал руками, ругая или призывая к чему-то своих сородичей. У ног его дергался, скреб землю рогами и копытами раненый олень. Семейка резко вскрикнул. Стадухин подумал, что от досады. Крикнул, чтобы готовили ружья к новому залпу.

Тунгусы были одеты по-разному: одни в меха, другие в кожаные халаты поверх меховой одежды. Выслушав длинноволосого, всадники развернули оленей к стаду и во весь опор ринулись на якутов, а те, разъяренные боем, бросились им навстречу, защищая женщин и детей, торопливо бежавших к русичам. Стадухин помахал им, приказывая открыть простор для стрельбы, и дал еще один залп по рогатой лаве.

Пока казаки вновь перезаряжали ружья и рассеивался пороховой дым, якуты беспрестанно пускали стрелы в сторону противника. Грохотали ружья промышленных на другой стороне ручья. Оттуда тоже доносились победные якутские крики. Под боком атамана снова завопил Дежнев.

Последний скот прошел мимо казаков. Разгоряченные всадники спешили, закрыли собой брешь между русскими отрядами. Тунгусы, отступив, носились на оленях потревоженным ульем, кружили на месте.

Михей обернулся к стонавшему Семейке Дежневу. Лицо его было залито кровью. Он выдернул из лба стрелу с костяным наконечником, приложил к ране пригоршню снега, закричал и закорчился от боли. Вторка Гаврилов, опасливо оглядываясь, вспарывал ножом его штанину. Из нее торчала другая стрела.

– Ну и везуч земляк! – выругался Михей, перезаряжая пищаль. Немеющие от холода пальцы едва ощущали тепло ствола.

Тунгусы снова развернулись лавой, стреляя на скаку, с криками ринулись на промышленных. Прогрохотал новый залп. Едва рассеялись клубы дыма, якуты вскочили на лошадок и яростно погнались врагов.

Михей Стадухин наконец-то осмотрелся. Многие из его казаков были ранены, убитых не было. Тунгусские стрелы достали Герасима с Тархом: один со стоном баюкал руку, другой зажимал плечо окровавленной ладонью. Их кони с торчавшими из боков стрелами кружили на месте, вставляли на дыбы и громко ржали, разбрасывая поклажу. Вместо того чтобы пожалеть раненых братьев, Михей в сердцах обругал их:

– Пенду бросили, коней не отогнали, не положили на землю... Титьку вам сосать, а не промышлять.

Раны у братьев и у казаков были неопасными. Больше всех досталось Семейке Дежневу.

– Раззява! – обругал и его Михей.

– Судьба такая, – морщась от боли, необидчиво просипел казак.

– Вертеться надо, а не пялиться на стрелков, – сгоряча поучал атаман, сверкая живыми глазами в обметанных инеем ресницах. – Ваше счастье, что у тунгусов костяные наконечники.

Отведя на них душу, он побежал к отряду промышленных людей. В окружении толпы якутов они разглядывали как диковинного зверя длинноволосого тунгуса в парке с бубенцами, того самого, который распорядился вражьем войском. Локти пленного были связаны, со спутанных, забитых снегом волос по лицу текли ручейки и застывали сосульками, грудь пленника часто вздымалась. Якуты кричали на него, плевались, промышленные не подпускали их.

– Кто взял? – кивнув на ясыря, спросил Пантелея Стадухин.

– Я высмотрел, послал двоих, как только под ним убили оленя. Они пробились вместе с якутами. А кто руки вязал – не знаю. – Пенда протер разгоряченное лицо сухим снегом, блеснул помолодевшими глазами: – Однако, кабы не якуты, нам бы не отбиться!

Гнавшие тунгусов всадники вскоре вернулись на запаленных лошадах, привезли трех раненых врагов, мешками бросили их с коней, с печалью сообщили сородичам и казакам, что в бою побито полтора десятка коров и бычков.

Пришлось разбить новый стан неподалеку от старого. Мишка Коновал вынимал наконечники, чистил раны, присыпал их выстывшей золой с погасших костров. Михей Стадухин с Пантелеем Пендой бросили седла у занявшегося огня, с важностью приняли якутского родового князца Уву. Тот, оборачиваясь к проводникам, сказал, что на них напали тунгусы с реки Момы и еще какие-то ламуты из-за гор, незнакомого племени. А якуты никому вреда не чинили, просто выпасали скот.

Люди Увы оказались тем самым якутским родом, за которым воеводы послали казаков на Оймякон. Михей не стал стыдить и ругать беспрестанно благодарившего его тойона, не пытал, зачем бежали, напомнил только про ясак и велел выдать его вдвое, с чем Ува согласился, снял с себя соболью душегрею и протянул Стадухину в поклон.

– «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых», – изрек Пашка Левонтьев с таким видом, будто был всем судьей, похлопал рукавицей по суме с Книгой и присел на корточки у костра.

С ним никто не спорил, но слышавшие его неприязненно умолкли и засопели. У Пашки и в остроге не было близких друзей. Прежний белый поп при встречах с ним багровел и метал глазами искры, с первых служб его невзлюбили прибывшие с Головиным монахи, которых Пашка прилюдно корил за какое-то несогласие.

– Запишу в ясачную книгу, в поклон царю! – оправдался от его поучений атаман.

Старший из вожей, немного говоривший по-русски, строго поглядывал на тойона и уже беззлобно ругал его за былые обиды. Ува с благодарностью кланялся жолам, просил казаков зимовать поблизости, а весной обещал уйти на Лену. Он ничуть не сомневался, что тунгусы вернутся, чтобы отбить своих пленников.

– Мы под них выкуп возьмем! – Михей снова оглянулся на важно восседавшего шамана. – Молодцы! – одобрил промышленных. – Я боялся, не удержитесь. Мои-то вас бросили, а гнать назад было поздно. – Отыскал глазами Тарха с Герасимом. Якуты уже поймали их раненых лошадей, успокоили, распрягли, умело вытащили наконечники из-под шкур.

Устыдившись невольного гнева, Михей вернулся к братьям, миролюбиво приказал Герасиму со смерзшимися слезами в пухе юношеской бороды:

– Подь сюда, покажи, как окровянили.

Герасим высвободил руку из рукава, с обидой показал брату рану.

– Царапина! – перекрестил ее Михей и густо присыпал золой. – Лишь бы отравы на стрелах не было. К ночи почувешь.

Тем временем якуты лечили раненых по-своему: зарезали подстреленного бычка, вынули из него внутренности, а в теплое парящее брюхо положили разделтого мужика, который от потери крови уже не открывал глаз, лишь постанывал с синюшным лицом.

Другие везли к стану разделанное мясо убитого скота и оленей, варили в котлах, пекли на углях грудинки, печень, мозговые кости. Сюда же возили хворост и обряжали убитых для ритуального костра. Затевался пир: праздничный, по случаю победы, и одновременно погребальный.

– Оймякон где? – выпрашивал беглого тойона Михей.

Тот указывал в низовья долины, говорил, что места там бесплодные: соболей и лисиц нет, холода лютые, зато снега по верховьям речек нет и хорошо выпасать скот.

– На Лене лучше было. Зря ушли, – сокрушался. – Весной вернемся, будем платить ясак и жить по царскому закону. Думали, здесь никого нет, а тут и тунгусы, и урусы. Нет уже мест, где можно жить спокойно.

– Какие урусы? – насторожился Михей, слегка напугав тойона.

Тот стал путанно рассказывать, что видел на Оймяконе остатки русского стана. Судя по следам, промышленные люди пошли на реку Мому.

– Что за река? Куда течет? – стал нетерпеливо выпытывать атаман.

Казачьи и промышленные, бросив дела, придвинулись к ним.

– Как Оймякон! – Ува махнул рукой на север, стал оправдываться, что сам там не был, но слышал от тунгусов.

– Кто бы мог быть? – Стадухин обернулся к Пантелею. – Поярков говорил, в эту сторону никого не пускали.

Старый промышленный мотнул головой, показывая, что ничего не знает. Михей уставился на тойона, тот, вздыхая и почесываясь, опасливо пожаловался:

– Там якуты воюют между собой. – Повел носом на закат. – Холопят друг друга, грабят, здесь тунгусы и ламуты, урусы везде ясак требуют. Возле острогов хотя бы не воюют, не грабят.

Пантелей Пенда усмехнулся, пролопотал скороговоркой:

– То наши друг друга не грабят: чуть отъедятся – поедом жрут один другого!

– На то и царь, – нравоучительно изрек Стадухин, – чтобы дать всем закон, мир и порядок!

Старый промышленный, глядя на пламя костра, презрительно хмыкнул в седую бороду. Втор Гаврилов, молча и внимательно слушавший говоривших, обернулся к Андрею Горелому, спутнику по москвитинскому походу:

– Якуты говорили про разных тунгусов: мемельских и приморских – ламских. Этот не из тех ли, что были на Улье? – указал глазами на длинноволосого.

– Похож! – согласился краснойрец. – Одет иначе.

Стадухин, услышав их, перевел взгляд с одного на другого, стал выспрашивать тойона про тунгусов в кожаных халатах. Их среди пленных не было.

Вторка с Горелым тоже заговорили про всадников в кожаных халатах.

– Похожи на ламутов из-за Камня! Может быть, здешние аргиши (*пути, проторенные оленями и людьми*) ближе тех, которыми мы ходили?

Вечером тяжелораненого якута вытащили из выстывшего брюха бычка. Его лицо порозовело, ресницы запавших глаз стали подрагивать. А к русскому стану прибежала молодая якутка с ужасом в лице, глаза ее казались закрытыми, глубоко запавшими, как у покойницы, рот разинут. Она кинулась к Пантелею Пенде, мертвой хваткой вцепившись в его парку, спряталась за спиной. К русскому стану смущенно подошли два якутских мужика, потоптавшись на месте, попросили вернуть женщину: ей надлежало сгореть на костре вместе с убитым мужем.

– Кто пожалеет бабенку и выкупит? – спросил спутников Пантелей, не пытаясь отодрать якутку от парки. – Мне дать нечего.

– А что они хотят? – смешливо покряхтывая, отозвался Федька Катаев из круга притихших казаков и промышленных. Он вел трех лошадей и все были целы, имел при себе ходовой товар.

Пантелей переговорил с якутскими мужиками, потом с жожами.

– Топор, четыре пригоршни бисера, ведро муки на поминальные лепешки. За выкуп отдадут женщину в вечное холопство.

Федька переглянулся с Герасимом.

– Дорого? На Лене молодую ясырку можно купить дешевле.

– Заплати! – стыдливо попросил Тарх Герасима, поскольку якуты мотали головами, не желая торговаться, а Федька – платить по их требованию.

– На кой она тебе? – проворчал младший, но, взглянув на лицо якутки, пожалел ее, со вздохами пошел за бисером и мукой.

Едва он отсыпал оговоренное, женщина отцепилась от Пенды, бросилась к нему. Герасим застонал от боли свежей раны и толкнул ее Тарху. Она поняла и крепко ухватилась за рукав среднего Стадухина.

В ночи якуты сложили ритуальный костер. Две пожилые женщины покорно взошли на него. Сухих дров было мало, огонь долго чадил, старухи кашляли, но не кричали. Скорей всего, они угорели, надышавшись дымом, потому что не издали ни звука, когда занялся большой огонь.

Утром, разворошив головешки и угли, якуты выбрали черные тела, срезали с костей несгоревшее мясо, бросили его в кострище, а кости сложили в мешок.

Еще раз плотно подкрепившись, люди тойона Увы погнали стада в обратную сторону, а десять якутских всадников с заводными лошадьми остались возле стана, чтобы разделить убоину. Этого мяса должно было хватить всем.

Тойон некоторое время оставался с казаками, хотя аманатить его Михей не собирался, потому что бежать ему было некуда. К тому же тунгусы могли вернуться, и без помощи казаков удержаться против них якуты не могли. Ува просил атамана поставить зимовье поблизости от выпасов. По его словам, там он спрятал четыре сорока соболей и с радостью отдаст их в казну.

Семейка Дежнев, и прежде прихрамывавший, теперь передвигался на двух палках. Один из его коней был убит, идти пешком он не мог. У Гришки Простокваши были прострелены

руки. Из-за ран пришлось зарезать другого коня Герасима, просить людей отряда и якутов взять на своих лошадок стадухинский товар.

Удача обходила пинежцев: прибыли от торга и промыслов не было, а убытков уже хватало. Казаки и промышленные люди хмуро поглядывали на атамана: немилость Божья к отряду настораживала их, а то, что вышли живыми с беспокойного Алдана и отбились от тунгусов, за удачу не принималось.

Михей Стадухин решил не дожидаться, когда тойон привезет обещанные меха, но с ним, с двумя казаками и с Пантелеем Пендой поехал в места выпасов с брошенными юртами. Ни птиц, ни зверя, ни следов живности отряд не увидел – вокруг была мертвая земля с редколесьем из карликовых берез и кривых лиственниц толщиной в конское копыто. Но ертаулы случайно вышли на многолюдный тунгусский стан. Людей и оленей здесь было втрое меньше, чем при нападении на якутов, и все равно много для одного кочевья. Это была часть войска. Стадухин вопрошающе взглянул на старого промышленного с обледеневшей бородой. Пенда пробормотал сквозь смерзшиеся усы:

– Заметили. Станем убегать, догонят и убьют. Надо идти послами!

Красноярские казаки Втор Гаврилов с Андреем Горелым, покряхтывая от стужи, согласились, что иного пути нет и следом за Стадухиным и Пендой направили своих коней к враждебному стану. За их спинами рысил на жеребчике тойон Ува. Навстречу им выехали оленные всадники, молча окружили и сопроводили до чумов.

С достоинством победителей казаки, Пантелеи и Ува спешили. Михей указал старому промышленному, чтобы тот шел впереди: вид у него был начальственный и по-тунгуски он говорил свободно. Степенно обогрившись возле огня, Пенда стал спрашивать, откуда пришли и зачем напали на якутов. Из беседы с лучшими мужиками выяснилось, что они хотели пограбить их и освободить своих людей из рабства. Дело было заурядным: тунгусы имели рабов из якутов, а те – из тунгусов. На пути сюда встретились с ламутами – тунгусами с другой стороны гор, кочующими до моря, и объединились в один отряд. Но те после боя спешно ушли, оправдываясь, что по большому снегу путь через горы непроходим.

Послы предложили побежденным дать посильный ясак и помириться с якутами.

– Впредь платите только нам, – сказал Пантелей. – Мы ваших соболей передадим царю, а он прикажет своим людям защищать вас от врагов.

Посоветовавшись, мемельцы выдали два десятка соболей и два половика, сшитых из соболевых спинок. Это был не выкуп за трех ясырей и не откуп за нападение на якутов, но они сказали, что другой рухляди нет, обещали добыть и привезти весной.

Собравшиеся на стане роды были бедны. Только один чум владел железным котлом, остальные пекли мясо и рыбу на углях или варили в глиняных и деревянных горшках, бросая в воду раскаленные камни. И все же мир был налажен. Их люди верхом на оленях сопроводили всадников до русского стана и забрали своих пленных. От ясыря с длинными волосами по имени Чуна они отказались, как от чужака сказали, что он – ламский шаман.

– Вот те раз! – удивился Втор Гаврилов. – А одет как алданский.

Герасим и Федька Катаев, увидев послов, закутились возле них, предлагая товар. Федька азартно приценивался к соболям лоскутам на одежде гостей. Тунгусы изумленно щупали котлы и топоры, глядели на бисер. Ничто другое их не интересовало, но и за этот товар дать было нечего.

– Дед! Скажи, пусть припомнят, где спрятали соболишек! – просил Пенду Федька. Он пытался говорить с пришлыми по-якутски, ухмылялся, по обыкновению кудахтал, размахивал руками, принужденно похохатывал. – Приезжайте для торга весной! – предлагал гостям.

Пантелей хмыкнул в бороду:

– Приедут! Не с соболями для мены, так с родней для грабежа. Ты им показал неслышанное богатство.

– Брешут, что бедны. – Федька поперечно подмигнул Гераське. – У якутов покупают железо втридорога против нашего.

Шаман Чуна, которого тунгусы не взяли, на расспросы казаков отвечал охотно, он говорил по-тунгуски, язык его был понятен Пантелею, некоторым казакам и якутам. На ночь шаману связывали руки и надевали на ноги колодку, вечерами он привольно сидел у костра, непринужденно говорил, смахивая с глаз нависавшие волосы. Его узкие немигающие глаза смотрели на окружающих по-змеиному холодно и пристально, тонкие губы были улыбчивы, что никак не вязалось со взглядом. По утрам и вечерами он протяжно пел, раскачиваясь телом, иногда просился плясать. От него ватажные узнали, что с верховий здешних рек в полуденную сторону, за горы, много проторенных путей.

– Море где-то близко! – смежив веки, вздохнул Андрей Горелый.

Красноярские казаки, поглядывая на полдень, вспоминали сыск над атаманом Копыловым и десятником Москвитиним. Кто мог знать, когда волоклись за Камень дальним и трудным путем, чем все обернется? Иные удрученно молчали, глядя на угли костра.

– Чем дальше на полдень, тем ближе пекло! – жестко посмеялся Вторка Гаврилов.

– Не бес тому виной, воеводы! – сурово глядя на угли, прошипел Мишка Коновал. Лицо его было коричневым, как кора лиственницы, на нем ярко белел рваный шрам от уголка скошенного рта к уху.

Казак сказал то, что было на уме у всех. Пантелей усмехнулся, качнув седой головой, атаман метнул на Мишку недовольный взгляд, но промолчал.

– К полуночи – море, к полудню – море, – заговорил старый промышленный. – Похоже, Великий Камень тянется среди океана на восход. А сколько, того никто не знает.

– По мне, тянись он хоть до края света, – раздраженно буркнул Втор Гаврилов. – Зарекаюсь подставлять спину за правду. Добуду кое-какое богатство, вернусь в Красноярский, напрошусь в пашенную слободу и иди она к бесу казачья служба.

– Не может того быть, чтобы чему-то не было конца! – пропустив мимо ушей сказанное красноярцем, заспорил Михай Стадухин и с пониманием взглянул на Пантелея. – Даст бог, дойдем!

Красноярские казаки пустились в воспоминания о Ламе, в который раз пересказывая о богатствах полуденной стороны Великого Камня. Промышленные, раззадоренные их сказками, стали расспрашивать Чуну о путях к морю и племенах, живущих там.

По словам ламута, его народ был многочисленным: и сидячим по избам, называвшим себя мэнэ, и кочующим на оленях – орочи. Ни те, ни другие не слыхивали, чтобы платить кому-то ясак или выкуп за пленников, потому за него, за Чуну, родственники ничего не дадут. А зверя в его земле множество, есть соболь.

– Заманивает, – посмеивался Михай, соскребая сосульки с рыжих усов. – Думает, прельстимся: единоплеменники нас перережут, а его освободят.

Пантелей соглашался, что ясырь так и думает, но кивал на Вторка Гаврилова и Андрея Горелого, ссылаясь на рассказы Ивана Москвитина.

Судьба десятника, небрежение воевод к его сказкам о Ламе и десять сороков дешевых соболей из одиннадцати привезенных не прельщали Михея Стадухина, мысль о том, что можно, по попущению Божьему, вернуться должником, – ужасала. Он внимательно слушал рассуждения товарищей, забывая о насущном, потом спохватывался о делах дня, допытывался у Чуны и тойона Увы, где найти лес повыше и потолще.

Якут пытался убедить ватажных, что в лесу жить опасно: враги могут подкрасться незамеченными, дерево упасть на головы, прельщал зимовкой на равнине. Отчаявшись, указал падь, укрытую с севера горами. Она была в днище пути от якутских кочевий.

Ватага казаков и промышленных людей с аманатом Чуной двинулась в ту сторону и вышла к реке, покрытой льдом. Чтобы перевезти груз и раненых, пришлось должиться конями

у якутов, все, кто был в силах, шли пешком. За Тархом, переваливаясь с боку на бок, семенила якутка в мужских торбах, с ее выстывших губ не сходила счастливая улыбка. Она восторженно озирала низкое небо, запорошенную снегом траву, не жаловалась на усталость и крепко держалась за парку промышленного. На станах женщина старалась быть всем полезной, чинила одежду, со знанием дела и с удовольствием пекла мясо.

Ватага нашла излучину застывшей речки, в которой росли высокие лиственницы. Лес был укрыт горами от северных ветров и узкой полосой тянулся вдоль одного из берегов версты на полторы. Как бы он ни был мал, зимовать здесь было приятней, чем на равнине. Ертаулы подняли на крыло куропаток, видели зайцев, но не нашли даже застарелых следов соболя. Это был Оймякон.

Тоскливо оглядевшись, Михей Стадухин стал оправдываться:

– Воеводы приказали рубить здесь государево зимовье, укрепить частоколом. – При общем молчании добавил, просипев простуженным горлом: – Укрепимся и поищем промысловых мест.

– Бывало хуже! – пробубнил Пантелей Пенда из меховой трубы, в которой укрывал лицо. Смахнув ее на плечи, огляделся, отметил, что здесь холодней, чем на равнине.

Казаки и промышленные люди выбрали бугор для зимовья, развесили на деревьях мешки с мукой, заветренным мясом, стали строить балаганы и греть землю. Михей Стадухин с топором в руке обошел лес и сделал зарубки на деревьях, которые приказал не трогать.

– Хочешь плыть по реке! – одобрительно кивнул Пантелей.

– Как знать! – уклончиво ответил атаман. – Много коней потеряли.

На новом стане закурились дымом костров, бойко застучали топоры. Чуна закричал, как раненый зверь, завыл, схватившись за голову.

– Тунгусу легче убить человека, чем срубить дерево, – пояснил Пантелей, участливо подошел к Чуне, долго говорил с ним, в чем-то убеждая. Вернувшись, пояснил спутникам:

– Чуна просит не рубить деревья, пока не выпроводит из них души. – Вопросительно взглянул на старшего Стадухина.

– Кого их, диких, спрашивать? – возмущенно запричитал Простокваша, кивая на свои раненые руки. – Не замерзает же из-за одного дурака.

– Вот-вот! – закудахтал Федька Катаев. – У них одно на уме, как нас извести. – Обернулся к Пашке Левонтьеву: – Что там в Законе Божьем сказано?

Пашка призадумался, пошмыгивая носом, с важностью изрек:

– «Не участвуй в делах зла!» И еще: «Пришельца не обижай».

Какое-то время казаки и промышленные лупали обметанными куржаком ресницами, вдумываясь в сказанное, начали было спорить, но атаман спросил:

– Как будет души выпускать?

– Плясать, наверное, петь! Как еще?

– Пусть попляшет. Подождем! – разрешил.

Перечить ему никто не стал. Люди вернулись к кострам, присели у огонька, наблюдая за ясырем. Обходя от дерева к дереву, вытапывая вокруг них снег, Чуна о чем-то лопотал, раскачивался всем телом, мотал долгогривой головой, и его густо выбеленные изморозью волосы трепались по плечам, как кроны на ветру. Казаки и промышленные стали мерзнуть без дела, одни жалась к кострам, другие притопывали, втягиваясь в танец ламута. Якуты жалости к деревьям не имели, они всякий лес готовы были выжечь дотла, чтобы расширить пастбища, но и вожи, вовлеченные шаманом в пляску, мотали головами, дрыгали ногами, как кони, и гортанно ржали.

Танец Чуны завлекал. Люди у костров сначала со смехом, потом с каким-то остервенением в лицах стали дергаться, подражая ламуту.

– Чарует! – просипел Пантелей выстывшими губами, вынул из-под парки кедровый нательный крест, навесил поверх одежды.

Стадухин стряхнул с глаз чарование, перекрестился, стал сечь одно из деревьев, от которого отделился Чуна. Его топор звенел и отскакивал от промерзшего комля. Застучали другие топоры, и вот, со скрежетом и хрустом, завалилась на бок вековая лиственница.

Чуна упал в снег, долго лежал, как мертвый. Пантелей Пенда, воткнув топор в пеню, волоком подтянул его к костру, уложил на теплый, прогретый лапник.

– Никому из вас не будет счастья! – щуря большие глаза, впервые пригрозил шаман. – Лес мстит жестоко, страшней, чем люди.

Зима разошлась во всю силу. От стужи трещали деревья и грохотал лед в реке. День был короток. Избенка из неошкуренного леса росла на глазах. Чуна бездельничал, лежал возле костра, не желая даже подкидывать щепу, только придвигался к гаснущему огню или отползал от него, когда поднималось пламя.

Долгими ночами над станом мерцали холодные звезды, ярко светил месяц – золотые рожки, высвечивая кроны деревьев в кухне. Из-под лапника и потников дышала теплом прогретая кострами земля. При свете огня черные опухшие лица спутников были похожи на звериные морды. При общем усталом молчании Пашка Левонтьев с клоком светлой оленьей шерсти в бороде монотонно, по слогам читал церковно-славянское письмо и скороговоркой повторял прочитанное просторечием.

Сквозь заиндевевшие смерзавшиеся ресницы Михей смотрел на звезды, осторожно вдыхал носом колкий студеной воздух, вполуха слушал Пашку, растекался духом по окрестности и, не чувствуя опасности, сонно думал о неведомой земле, воле, славе, счастье. Здесь, на Оймяконе, все было не то и не так. Мысли его путались с Пашкиным чтением, среди звезд выткался неясный лик Арины, в ушах зазвучали неразборчивые слова ее молитвы.

А люди были сердиты, он это хорошо чувствовал и понимал их: подошло время промыслов, но ватага еще только рубила зимовье. Поблизости соболей и лис явно не было. Многим уже казалось, что лишь чудо поможет добыть кое-какую рухлядь, чтобы хоть как покрыть убытки. По утрам и по вечерам люди страстно молились святым апостолам Петру и Павлу, покровителям промыслов. В том был намек и укор атаману.

Только от старого Пенды не было ни похвал, ни осуждения. «То ли равнодушен ко всему, – гадал атаман, – то ли так надежно заперт?» Пантелей спокойно переносил тяготы будней и чем откровенней связчики показывали недоверие атаману, тем чаще говорил о душевном, звал идти на Ламу.

– Со слов тойона Увы, Оймякон впадает в Мому, куда она течет, никто не знает, – отговаривался Михей и чувствовал приятное волнение, которое принимал за вещий знак. – Если благополучно перезимуем и не даст бог добычи в этом краю, построим струги, поплывем в неведомое, как Илейка Перфильев, Ивашка Ребров.

Все ждали от Пенды рассказов про удачные промыслы, скитания по неизвестным землям, но он упорно помалкивал, а при настойчивых расспросах как-то нехорошо усмехался.

– Вот бы кому язык огоньком развязать! – Покряхтывая и похохатывая, обмолвился Федька Катаев.

Пантелей выплюнул из-за щеки ягодный лист, поднял парку и подол заячьей рубахи, показал живот. Казаки и промышленные, удивленно переглянувшись, вопрошающе уставились на него.

– Спина кнутом исполосована, зато над огоньком не висел! – пояснил Пенда.

Бывальцы были наслышаны о первопроходцах, кончивших земные жизни в пыточных избах под кнутами приказных и воевод. За слухами и догадками о несказанном ими была чарующая тайна, а Пантелей Пенда был одним из ее жрецов.

– Язык наш – враг наш! – поддакнул Пашка, поглаживая кожаный переплет Библии. – Гроб смердячий!

Пылали костры, сизый дым поднимался к небу ровными воронками, от прогретой земли шел жар и оседал куржаком на одеяла. Утомленные работами, люди быстро засыпали. Якутка лежала рядом с Тархом в меховом мешке – кукуле, сквозь выбеленные инеем ресницы глядела в низкое небо и улыбалась своей новой жизни. Над ее лицом поднималось и осыпалось льдинками облачко пара.

Пашка, закрыв Книгу, которую обычно читал перед сном, втянулся в глубину оленьего кукуля. Михей Стадухин в полусне привычно растекся по сугробам, обращаясь в большое бесплотное ухо. Внутренний взор его скользнул по уродливым пням, корявым сучьям, щепе, по замершим в студеном безветрии деревьям и остановился на соболе с бьющейся куропаткой в зубах. Зверек воровато оглянулся и поволок птицу под пень.

Михей приятно удивился, что лес не так уж пуст, в следующий миг услышал осторожные шаги. Промороженный снег был сыпуч и беззвучен, звуки походили на человечьи, но вместо образа идущего ему чудилась какая-то тень. «Кто бы мог быть?» – встревоженно думал он, напрягся и в лунном серебре полярной ночи смутно увидел то ли зверя, то ли человека. Открыл глаза, скинул одеяло.

– Не враг это, спи! – пробормотал лежавший рядом Пантелей.

– Злого не чую, – прошептал Михей. – Но кто?

– Леший!

– Они спят с Ерофеина дня!

– Значит, сендушный забрел из тундры! – Пантелей высунул нос из волчьего кукуля, сшитого по-тунгусски, прошептал тверже: – Не буди людей, без того злы!

Михей лег на спину, взглянул на низкие звезды.

– А что ему надо? – спросил шепотом.

– Они же любопытные, как медведи или козы! – Старый промышленный зевнул и перевернулся на другой бок.

Придвинувшись к нему, Михей Стадухин прошептал:

– Ты тоже видишь кожей?

– Вижу! – помолчав, неохотно ответил Пантелей. – Могу в черед с тобой караулить подходы... Умаялся ты!

Опять стали смерзаться ресницы атамана. Залучились, закачались звезды, среди них ясно выступило лицо Арины, как когда-то на Илиме, она смотрела на него через костер. В полусне, укрываясь с головой, он опять услышал ее голос с неразборчивыми словами. С тем уснул. Проснулся, почувствовав себя отдохнувшим, будто высвободился из объятий жены. Бросил взгляд на небо. Была ночь, но звезды перевернулись. В Енисейском остроге в это время рассветало. Тлел костер. Свернувшись улиткой, едва не тычась носом в угли, над ними клонился Семейка Дежнев в обнимку с пищалью. Железный ствол ружья, покрытый узором изморози, розовато отсвечивал.

– Спишь в карауле? – укорил Михей.

Семейка вздрогнул, обернулся.

– Не сплю, – промямлил, сглатывая слюну. – Греюсь! Околел. Всю ночь ходил, где ты указал.

Зашевелились разбуженные люди, громко зевали, с недовольным видом поглядывая на небо и на атамана.

– Догреетесь в преисподней, – проворчал он, вставая. – Вот как перебыют сонных, – пригрозил.

– Так нет никого! Кому резать? – продрав глаза, заспорил Семейка, обыденно пререкаясь с земляком.

– Аманат тихонько встанет и убьет твоим же ножом.

– Я ему ноги связал хитрым узлом!

– Тыфу на вас, неслухи! – беззлобно выругался Михей, окончательно разбудив стан. – Сходи погляди, – указал кивком в сторону порубленных деревьев.

Сгреб в кучу тлевшие угли, бросил на них бересту. Она задымила, стала скручиваться, потрескивать, но не загоралась. Семейка Дежнев, оставив у костра пицаль и опираясь на палки, заковылял в указанную сторону. Поднялось пламя. С одеялами на плечах служилые и охочие стали жаться к огню. Якутка отошла на десяток шагов, набила котел сыпучим снегом.

– Сендушный приходил! – возвращаясь, дурашливо крикнул Семейка. – Нога босая, как у зверя, и кора на осинах погрызена. – Слава богу, – перекрестился, не снимая собачьей рукавицы, – ни видели, ни слышали: встречи с ним не к добру.

– Девка у нас, – кивнув в сторону якутки, поддакнул дружку Простокваша. Он стоял в карауле перед Семейкой, потому оправдывался и за себя тоже. – Сендушный до них охоч, крадет собак и баб, а так безвредный...

Все с любопытством уставились на Пантелея Пенду, но он по обыкновению молчал, перемалывая крепкими зубами листовичную смолу.

Строилось государево зимовье торопливо, небрежно, вкривь и вкось, из сырого леса и гнилых валежин: лишь бы пережить зиму. Щели в ладонь забивали мерзлым мхом. Накрыли сруб жердями и корой, закидали избу снегом. Частокол ставить не стали: атаман не требовал, сами укрепляться не желали. Но сразу принялись за строительство бани.

Отмывшись, люди два дня отдыхали с просветленными лицами. Раненые лечились. Коновал присыпал им раны травяной трухой из мешочков. Здоровые казаки и промышленные стали проситься на разведку промыслов. Михей отпустил сначала промышленных, потом половину казаков. Аманата Чуну держал в зимовье вольно, колодки надевал только на ночь, утром освобождал. Якутка варила и пекла мясо, радовалась, когда ее хвалили, и так ласково глядела на всех глубоко запавшими под лоб глазами, что подстрекала мужчин к похоти. Только при виде ламута на лице ее мелькала болезненная тень воспоминаний о прошлой жизни. Но и ему она не показывала неприязни, не обделяла едой.

Служилые и охочие, отпущенные Стадухиным на промыслы и проведывание новых земель, поехали по округе порознь и вскоре объединились в две чуницы под началом казака Андрея Горелого и промышленного Пантелея Пенды. На лошадях с недельным припасом ржи и мяса они отправились в верховья Оймякона.

Падь, где было поставлено зимовье, на аршин завалило снегом, в избе стало теплей. Бывшие при ней кони зарывались в сугробы едва не по самые лопатки, копытили траву. Михей указал на них брату Герасиму:

– Понял, чем якутские карлы лучше русских лошадей в два с половиной аршина в холке?

Тот обидчиво шмыгнул обмороженным носом, поперечно проворчал:

– Не стоят они тех денег, что потеряли.

Братьям не повезло: из шести лошадей три пали. Но Герасим с Федькой ездили на стан к якутам, с выгодой продали часть товара. Рана младшего зарубцевалась, он стал проситься на промыслы с дружкой Федькой и с казаками. Тарх, оставив выкупленную якутку на старшего брата, держался поблизости от Пенды, учился у него.

– Можешь идти с ними, только как-то не по-христиански промышлять в разных чуницах с братом, – укорил младшего Михей.

Семейка Дежнев, возившийся у очага, смешливо взглянул на молодого земляка, мимоходом встрял в разговор:

– Федька менять и торговать горазд, глядишь, вдвоем втридорога товар сбудут.

Он все еще ходил на раскорячку, сильно припадая на обе ноги, но уже без палок, работал при зимовье. Рана на его лбу зарубцевалась. Над Семейкой смеялись, что ламуты вскрыли ему

третий глаз. Он тоже смеялся, устав отмаливать свое забубенное невезение, смиряясь с долей. На промыслы не просился, показывая, что калеке только и остается что топить избу.

Вскоре с заводными конями в поводу вернулись двое промышленных и приволокли по льду застывшей речки тесаную лесину с длинными обрубками сучьев. Отогреваясь возле очага, жаловались, что намучались с ней в пути. Эту колоду велел тянуть к зимовью старый Пенда, по его словам, из нее должна получиться хорошая основа для шитика. Михей понял, что, прельщая спутников походом на Ламу, Пантелей Демидович непрочь сплавиться по неведомой реке.

Со слов вернувшихся, по ту сторону гор было теплей, но снега больше. Там водился соболь. Люди Пенды и Горелого рубили станы, спешно секли кулемники по ухоям.

Разошлась по промысловым местам и вторая чуница. В зимовье со старшим Стадухиным остались хромой Дежнев, безрукий Простокваша, заумный Пашка Левонтьев, якутка и аманат Чуна. Пашка стоял в караулах, днями рубил дрова, все свободное время читал. Все слушали его и молчали, убаюкиваемые монотонным голосом. Напрягая морщины между бровей, чутко прислушивался к чтецу Чуна. И только якутка с отрешенным видом, лежала на нарах и чесала брюхо.

Михей попытался добыть одного-единственного соболя, крутившегося возле лабаза, делал все как все, может быть, даже лучше. Но соболь либо не шел к его клепцам, либо вытаскивал приманку. Стадухин втайне злился на него, хитроумного, и на себя самого. Против одного юркого зверька выставил десяток ловушек, и все зря: одни захлопывались пустыми, с других пропадала приманка или соболь к ним не подходил. Атаман сдался, пожаловавшись земляку на неудачи в промысле. Семейка Дежнев, ковыляя, обошел путик, поставил и насторожил все по-своему, через неделю принес придавленного соболя и ободрал при тоскливом молчании Стадухина.

В марте потеплело. На обдутых ветрами равнинах и холмах быстро таял редкий снег, выпасы желтели прошлогодней травой. После полудня по долине реки сугробы становились вязкими, а по ночам покрывались крепким настом. Подъехать к зимовью на конях было невозможно, но на оленях или собаках под утро подойти могли. Караульные спали, когда им казалось, что снег непроходим.

В это самое время на зимовье набрела ватажка промышленных людей из восьми человек. Оставляя после себя глубокий лыжный след в отопревшем рыхлом снегу, они подошли к жилью на десяток шагов и с изумлением уставились на дым. Выскочившие из избы казаки были поражены встречей не меньше, чем пришельцы. Те и другие, постояв друг против друга с разинутыми ртами, разом заголосили, выпрашивая, кто они такие и откуда взялись?

Раздвинув Семейку с Пашкой, вперед вышел Михей Стадухин, велел прибывшим сбросить лыжи и войти в зимовье.

– Кто передовщик? – спросил.

– Я! – отозвался скуластый, как ерш, муж со шрамами обморожений на лице. – Енисейский промышленный Ивашка Ожегов.

Как и спутники, одет он был по-тунгусски. Скинув башлык, обнажил голову с длинными спутавшимися с бородой волосами. Ответив атаману, захлебисто закашлял. Набившись в зимовье, гости развязали кожаные узлы на одежде, разделись. Черными неуклюжими потрескавшимися пальцами Ожегов достал мешочек, вытряхнул из него отпускную грамоту енисейского воеводы Веревкина, дозволявшего промыслять соболя по Олекме.

– Как здесь-то оказались, да еще пришли с восхода? – строго спросил Стадухин, предъявив наказную память от воевод Головина и Глебова.

Гости притихли, заговорили почтительней.

– Неудачно промысляли зиму на Олекме. Весной переволоклись через гору, построили струги, поплыли по неведомой речке. В низовьях узнали, что зовется Амгой, а промысловые

места заняты енисейцами и мангазейцами. Переправились через Алдан, шли встреч солнца, промышляли неподалеку отсюда – две недели ходу. Речка там, под полночный ветер. Оголодали и решили выбираться в Ленский острог.

Хотя пришлых было вдвое больше, чем зимовейщиков, а Семейка Дежнев и Гришка Простокваша еще не оправались от ран, гости с опаской и предосторожностями показали добытые меха.

– Негусто! – разглядывая связанные бечевой сорока, посочувствовал Стадухин. – А соболя добрые, головные. Такие в Ленском по рублю.

– По рублю нипочем не дадут, – улыбаясь, заспорил Семейка Дежнев. – Обязательно сбросят по полуполтине. А у вас есть рухлядь без хвостов и пупков.

Ожегов торопливо собрал меха в мешки.

– До Ленского еще добраться надо.

– С таким богатством, – Семейка окинул их добычу смешливым взглядом, – наедитесь ржаной каши с коровьим маслом и пойдете в покругу.

По приказу Стадухина он выложил перед гостями каравай оттаянного хлеба. Выпекали его по уговору только на субботы и воскресенья. Рыбы в промерзшей реке не было, по нужде привычно сквернились в пост зайцами и куропатками. Муку, как водится на промыслах, берегли.

Передовщик кочующей ватажки отщипнул кусочек от краюхи, благостно пожевал, за ним потянулись к хлебу другие. Поев, покидав в рот последние крошки, Ожегов степенно ответил Семейке:

– Это уж как Бог даст! Порох, свинец истратились, неводные сети перервались. Перед уходом из зимовья тушки соболей варили – экая гадость... Волчатина после соболятины, прости, Господи, ну очень вкусна.

– Нам тоже удачи нет, – сочувствуя пришлым, пожаловался Стадухин. – Наказ воевод выполнили, но рухляди не добыли и теперь хотим искать новых земель, распускаем лес, со дня на день заложим шитик и со льдом поплывем на реку Мому. Слыхали?

Переглянувшись, гости не ответили, только удивленно посмотрели на Михея.

– А мы слышали! Нас всех с вами, будет добрая ватага. Дорога дальняя, край неведомый, лишние люди не помешают.

– Что хотите с нас? – настороженно блеснул глазами и снова закашлял Скуластый передовщик. – Покругу?

– Со дня на день вернутся с промыслов казаки и промышленные. Соберемся, решим! А пока помогите строить судно, сторожить зимовье и аманата, – кивнул на равнодушно слушавшего гостей ламута.

Горелый с Пендой и промышленными людьми вышли к зимовью на той же неделе. Все были живы. Кроме мехов они привезли мешок мороженных соболей, которых собрали на обратном пути, забивая клепцы. По грубой прикидке, добытая рухлядь вместе с неошкуренным мешком не покрывала долгов большинства казаков и промышленных. Пантелей обрадовался, что народу прибавилось, стал уверенней зазывать на Ламу, в места москвитинского зимовья, но идти туда напрямик через горы, путями, известными аманату Чуне.

Михей Стадухин еще надеялся, что ламуты привезут выкуп за пленного. Если нет, то соглашался навестить их, пограбить в отместку за прошлогоднее нападение на якутов. Но не больше: все понимали, что другой зимы в этих местах не пережить. Не было на Оймяконе человека, кому бы так же, как ему, не терпелось вернуться в Ленский острог. Но, наверное, никто другой так не страшился вернуться должником. Кони отряда паслись в якутских табунах, за них не беспокоились. Не будет в них нужды, якутские мужики отгонят на Лену вместе со своим скотом и долгов убудет.

Втор Гаврилов, спутник Ивана Москвитина, угрюмо прислушивался к разговору, в котором и Михай, и Пенда то и дело ссылались на него и Андрея Горелого, сам же помалкивал.

– Да скажи что-нибудь! – вспыхнул атаман.

Втор вздохнул, расправил бороду:

– Меня уже наградили за Ламу: по сей день спина чешется. Что же я буду другой раз напрашиваться?

Сторонникам похода за Великий Камень возразить казаку было нечем. Умолк и старый промышленный, свесив белую бороду. Семейка с Гришкой Простоквашей шкурили привезенных соболей, им охотно помогала якутка.

По обычаю старых промышленных тушки надо было сжигать при общем молчании, но народа в зимовье так прибыло, что сделать это с честью Семейке с Федькой не удавалось и они зарывали ошкуренных соболей в снег.

Михей Стадухин неподалеку от того места вытащил из плашки задавленного зайца и беззаботно шел к зимовью с добычей в одной руке с топором в другой. Вдруг в пяти шагах от него поднялся медведь, торопливо дожевав ошкуренного соболя из дежневской хованки, уставился на человека. Мгновение человек и зверь пристально глядели друг на друга, Михею показалось, что он узнал того, который подходил к нему с Ариной на Илиме и Куте, которого спас от убийства на Лене. Но медведь так отошал, что под свалывшейся шерстью угадывались ребра: видно, поднялся из берлоги давно и бедствовал без кормов.

Окинув его сочувственным взглядом, Стадухин бросил мерзлого зайца. Зверь, на лету, схватил его, с хрустом сгрыз, снова уставился на человека голодными глазами, и казак почувствовал, что для исхудавшего медведя он – продолжение съеденного. Не сводя с него глаз, зверь стал приседать перед броском.

– Чего удумал? – Михай отвел в сторону топор, готовясь защититься. И в этот миг за спиной раздался такой пронзительный вопль, от которого он невольно скакнул, обернувшись спиной к медведю. Чудно раздув шею и щеки, кричал Пантелей Пенда. Краем глаза Михай увидел, как зверь шархнулся в сторону. Обернулся – он убежал.

– Зачем подставляешься? – на глубоком вдохе прерывисто спросил Пантелей.

– Да вот, бес попутал! – смущенно пожал плечами Михай.

– Бывает! – согласился старый промышленный. – Хорошо, я был рядом. В нем одних костей и жил пудов десять. Задавил бы.

– Что ты ему сказал? У меня до сих пор в ушах звенит.

– Чтобы проваливал!

– Что за язык такой чудной?

– Чандальский! – неохотно ответил Пантелей. – Скажи Семейке, чтобы не бросал тушек возле зимовья³.

Слегка сутулясь, старый промышленный пошел к зимовью. Помахивая топором, Михай догнал его, спросил полусшепотом:

– Ты и с чандалами знался?

– С кем только не знался, – досадливо огрызнулся Пантелей. – Не верь никому! Особенно людям и медведям!

В апреле на открытых местах лесного берега речки появились проталины. В полдень припекало солнце. К зимовью приехали на оленях родственники Чуны. Пять мужиков в кожаных халатах, с черными, лоснящимися от солнца лицами спешили на противоположном, открытом берегу и по мокрому льду переправились к жилью. Полтора десятка сопровождавших их сородичей остановились там же, сложили на землю луки с колчанами стрел. Послы безбояз-

³ По поверьям промышленных людей XVII века, чандалы – древнейший сибирский народ, впадающий зимой в спячку.

ненно подошли к караульным, их обыскали, подпустили к зимовью, показали живого аманата с колодкой на ноге.

– Здоровые черти! – буркнул Горелый, оглядывая гостей. – Один к одному тамошние сонинги.

Ламуты принесли три пластины, сшитые из собольих спинок. Выкуп не мог быть так мал, можно было понять, что это подарок в поклон. Стадухин ждал, решив, что гости будут торговаться за шамана, за побитый якутский скот, за раны русичей и убитых якутов. Пантелей Пенда сидел в темном углу, переводил строгие глаза с одного посла на другого. Пашка Левонтьев со звучным хлопком закрыл Библию, ламуты вздрогнули, обернувшись к нему, оглядели углы избы и попросили разрешения говорить с Чуной. Атаман обернулся к Пантелею за советом.

– Не нравится мне что-то! – пробормотал тот. – Добавь-ка людей на охрану!

– Там десятеро! – пожал плечами Михей, но выслал из избы еще пятерых.

И тут с другого берега нескрывшейся речки послышались якутские крики «Ур!..Ур!».

Безоружные ламуты вскочили с мест, отбиваясь от казаков, кинулись к двери, перепрыгнули через сидевших снаружи, побежали к оленям. Караульные дали по ним три нестройных выстрела. Как оказалось, фитили были запалены только у них. Когда рассеялся пороховой дым, ламуты уже мчались на оленях на расстоянии полета стрелы.

Чуна в деревянной колодке бежать не пытался, но по его лицу было понятно, что родичи сказали ему что-то важное.

Прискакавшие по проталинам якуты спешили, скользя ногами по сырому льду, переправились с конями через реку в то время, когда Михей Стадухин орал на своих и раздавал тумаки. Это были вожи, отпущенные им зимовать с единокровниками. Они сказали, что ночью ламуты напали на станы Увы, перебили много коней. Возмущенные зимовейщики, забыв споры и обиды, хотели преследовать врагов по горячим следам.

– Погодите! – крикнул Пантелей, удерживая рвущихся в погоню. – Если их всего сотня, как говорят якуты, то они пришли освободить Чуну, а коней били с умыслом. Побежите для мщения, они вернутся и отобьют шамана. Думать надо!

Стадухин властно окликнул людей, тряхнул за шиворот непослушных крикунов, велел накормить якутов.

– Горелый! Бери под начало промышленных людей и двух служилых. Возьмешь свинца, порошу, остатки толокна, пойдете к якутам, защитите их, соединитесь с ними и преследуйте ламутов как умеете. Ловите лучших мужиков, требуйте выкуп сколько дадут. – Обвел строгим взглядом слушавших его людей: – Главным будет Андрейка. Во всем слушаться его и Пантелея Демидыча.

Я с казаками жду вас здесь. Будем строить коч, караулить Чуну и якутский скот. Не вернетесь к Николе, пошлите вестовых, а то мы уплывем, куда Бог выведет.

Отряд из двух десятков промышленных с двумя казаками, Андреем Горелым и Втором Гавриловым, ушел вверх по Оймякону. Тарх увязался с ними, Герасима Михей не отпустил, оставив при себе. Впрочем, младший и не рвался за Камень. На быстрое возвращение отряда никто не надеялся. Конным догнать оленных всадников по насту, лежавшему по ложбинам, было делом невозможным: олени с широкими раздвоенными копытами не проваливались, как кони. Горелый и Пенда соединились с двадцатью якутскими всадниками и повели всех на реку Охту, где, по слухам от Чуны, еще не было русских людей.

Весна уже явно теснила зиму. Промерзавшая до дна речка, томясь подо льдом, пробивалась из щелей и трещин, в полдень журчала ручьями. У ее берегов появились широкие пропарины, но рыба в них не ловилась, не было даже ее запаха. Якуты, опасаясь новых нападений, пригнали свои стада ближе к зимовью. И они, и казаки питались мясом убитых коней.

Стадухин с казаками и промышленными людьми поспешно строил коч из подручного леса, ждал вестей от Горелого, но их не было. Якуты тоже ждали возвращения лучших мужчин,

без них они боялись удаляться от зимовья, между тем по первой зелени трав им пора было кочевать в обратную сторону к Ленскому острогу.

В мае, на Еремея-запрягальника, речка наконец-то очистилась от льда, бесилась и пенилась весенним паводком. В этот день вернулся отряд Андрея Горелого. Все были живы, ранены двое – он сам и ожеговский промышленный. К их седлам были приторочены мешки с сухой рыбой и рыбной мукой.

– А мы, вас ожидаючи, совсем оголодали, – признался атаман.

Андрей Горелый со Втором Гавриловым сошли с низкорослых лошадок, затоптались на месте, разминая ноги.

– Как якуты? – спросил атаман.

– Все живы! – неохотно ответил Горелый, мотнул головой и устало поморщился. – Только нас ранили.

Зимовейщики топили баню, варили заболонь и корни, обильно приправляя их привезенной рыбной мукой. Прибывшие не спешили рассказывать, где были, что видели: разговор предстоял долгий. Пока грелась вода и калилась каменка, они с любопытством разглядывали судно, обшитое тесаными досками.

– Добрая ладейка! – неуверенно похвалил его Пантелей Пенда. В сказанном был намек, что плоскодонный коч маловат для ватаги.

Стадухин стал было оправдываться, что из здешнего леса невозможно сделать больше того.

– Надо бы нос и корму накрыть: все-таки от волн защита, в дождь можно обогреться и просушиться. – Придирчиво обстучал борта старый промышленный. Люди, бывшие с ним по ту сторону гор, сдержанно хвалили работу плотников.

Наспех срубленная зимой изба светилась щелями и не могла вместить всех. Ясным вечером, переходящим в светлую ночь, ватага сошлась у костра. Втор с Андреем Горелым сняли с бани первый пар, бок о бок сели на колоду. Казаки-зимовейщики ждали от них подробного рассказа. Привезенный с Охоты мех был ими осмотрен и ощупан. Это были три десятка плохоньких, коричневых соболей, пара пластин сшитых из спинок. Выкуп за Чуну взят не был.

– Бога прогневили, что ли? – вздыхали, печалась невезению.

Немногословный Втор Гаврилов больше помалкивал, говорил Андрей Горелый, его связчики глядели на пламеневшие угли и поддакивали.

– Ламуцких мужиков на Охоте кочует множество. Не обманул Чуна, – указал на ухмылявшегося аманата.

Тот без цепи и колодки вольно сидел у костра как равный.

– Ездят на оленях тропами давними, пробойными, кони по ним идут легко. Соболя и всякого зверя там много, реки рыбные, – увлекаясь, заговорил громче. – Лис хоть палкой бей. По следу глядеть – волки с ними живут мирно, рядом ходят. Все сыты.

– На Улье тоже рыбы много, но не так! – степенно поддакнул Втор.

– Правду говорил Чуна. – Горелый опять кивнул на заложника. – Есть ламуты сидячие, живут в домах, селами, что наши посадки. Припас у них рыбный: юкола, икра, рыбная мука в амбарах, с осени в зиму рыбу в ямы закладывают. Железо у них – редкость: копейца и ножи костяные, топоры тоже костяные, бывает, каменные. Бой лучной, это вы видели. Лихо носят на оленях, аманатить себя не дают.

– А сидячих что не брали?

– Как где ни покажемся – мужики, старики, дети бегут в лес и упреждают соседей. Врасплох их не взять. А если варят рыбу из ям – к селению не подойти от вони: лучше броней защита. Что удалось собрать по пустым избам, то привезли. Другой рухляди не было.

– Не дошли устья Ульи, где зимовали с Ивашкой Москвитиним? – нетерпеливо спросил атаман.

– Не дошли! – согласился Горелый, тряхнув пышной, промытой щелоком бородой. – По всем приметам, недалеко были. Но близко к морю собралось ламутское войско сотен в семь, стреляли по нам со всех сторон и принудили повернуть в обратную сторону.

– А бородатых мужиков видели, про которых Ивашка говорил? – с любопытством поглядывая на Пантелея Пенду, спросил Михай Стадухин.

Казак и охочие люди, вернувшиеся из похода, сконфуженно обернулись к старому промышленному. Пантелей закричал, прокашлялся, будто проснулся, и равнодушно ответил:

– Видели боканов⁴. Иные на тунгусов походят, другие на братских людей, только бороды гуще...

Ты вот что, – встрепнулся, обращаясь к атаману. – Нас родичи Чуны преследовали до самых верховий Оймькона. Могут ночью напасть на якутов и на зимовье. Надо выставить крепкие караулы и помочь отогнать скот к Алдану. Без нас ламуты не дадут им кочевать.

Видимо, Пантелей сказал главное, что было на уме у всех вернувшихся. Они громко загалдели, перебивая друг друга. Одни оправдывались, другие кого-то ругали, а Михай чудилось, будто в чем-то укоряют его.

– Наверное, Чуна прошлый раз предупредил сородичей, чтобы не давались в аманаты? – спросил, с подозрением уставившись на пленника. Глаза ламута сомкнулись в тонкие щелки, губы расплылись в самодовольной усмешке, он понял, о чем речь.

– Мы за Камнем так же думали, – признался Горелый.

– Зачем? – удивился Стадухин, пристально глядя на аманата.

– Одного выкупят, потом будут многих выкупать! – медленно, членораздельно ответил Чуна на сносном языке, чем удивил всех так, что у костра долго стояла тишина.

– Вот те раз! – хмыкнул в бороду атаман и прикусил рыжий ус. – Заговорил?

Короткой и светлой майской ночью казаки выставили караулы со всех сторон. Тарх Стадухин с десятью промышленными отправился на стан к якутам. Пантелей не ошибся. Ранним утром, когда головы бодрствующих становятся непомерно тяжелыми, Михай почувствовал хорканье оленей и ярость, волной накатывавшуюся на зимовье, сбросил одеяло, поднял спавших.

– Семейке с Простоквашей оставаться! Ты – старший! – бросил Дежневу. – Головой отвечаешь за аманата. Ворвутся ламуты, живым не отдавай! – Подхватил заряженную пиццаль, первым выскочил из зимовья. Глухо и грозно шумела весенняя река. Уныло пиццали комары.

В это время потяга воздуха нанесла на Втору Гаврилова, чутко дремавшего в дозоре, запах оленей. Он раскрыл слипавшиеся глаза и увидел на пустынном месте странное мельтешение. Втор тряхнул головой и разглядел рогатые головы людей. Под его рукой тлел трут. Казак запалил фитиль пиццали и на всякий случай пальнул по яви или по утреннему мороку.

Еще не рассеялся пороховой дым выстрела, к караульным подбежали отдыхавшие в зимовье, тоже стали стрелять. Вскоре донеслись отзвуки выстрелов с якутского стана. Ламуты не ждали караулов так далеко от зимовья и еще не успели спешиться. Обстрелянные, они развернули оленей и поскакали вспять.

Явных признаков боя не было. Михай обежал ближайšie секреты. Втор Гаврилов, стоя в полный рост, забивал в ствол новый заряд.

– Палил картечью! – Обернулся к атаману: – Должен переранить оленей и людей! – Положил ствол на сошник, подсыпал на запал пороха из рожка, стал всматриваться. – Явно слышал человечьи вопли.

Стадухин проломился сквозь кустарник, вернулся:

– Двух оленей убил. А людей нет! Похоже, похватили и увезли.

⁴ Боканы – рабы.

Со стороны якутских выпасов раздался новый залп, потом все надолго стихло. Из розового тумана над увалами выглянул край солнца, желтый луч стрельнул по равнине. Стадухин оставил в дозоре троих, остальных отпустил досыпать.

К полудню от якутов пришли посыльные, сказали, что утром отбили два приступа. Все их люди были живы, скот цел. Тойон Ува, дождавшись своих молодцов с Охоты, готовился к перекочевке.

Михей Стадухин хотел отправить с ними Дежнева и Простоквашу, дескать, им в обычае выходить с казной. Но те уперлись, не желая возвращаться, их паевых мехов не хватало, чтобы расплатиться с долгами. Смешливый половинщик, услышав атаманский наказ, вдруг напряженно замолчал, глаза его сузились в острые щелки, лицо окаменело трещинами ранних морщин, в следующий миг он метнул на атамана такой непокорный взгляд, что Стадухин с недоумением рассмеялся и выругался: «Решайте сами, кому возвращаться или кидайте жребий!»

Со словами: «Не будет с вами счастья!» самовольно вызвался идти на Лену остроносый и застенчивый, но прожиточный казак Дениска Васильев.

Семейка тут же успокоился, подобрел, заулыбался, стал дурашливо жаловаться:

– Покойникам и тем радостней лежать в здешней мерзлоте, чем жить на белом свете больному да хворому.

Стадухин, посмеиваясь резким переменам в его лице, стал писать челобитную воеводам и благословил Васильева на возвращение с оставшимися ватажными конями.

4. Соперники

Разбушевавшийся Оймякон с таким рокотом перекачивал по дну камни, что люди на берегу кричали, чтобы услышать друг друга. По наказу атамана ертаулы сходили в низовья и вернулись озадаченные: расширяясь, река оставалась такой же бурной. На сходе ватага спорила: сплавлять коч по большой воде до проходных глубин – страшно, ждать, когда река войдет в берега, – невмочь. Атаман намеренно ни к чему не принуждал, ожидая соборного решения.

– Мало голодали? – со скрытой насмешкой съязвил Пантелей. – Поголодаем еще. Вода упадет, будем поднимать ее запрудами и парусом, безопасно потянемся по камням...

– Нет уж! – возмущенно рыкнул Коновал. Рубец на коричневой щеке побагровел, дражная губа задергалась. – Хаживал по мелям, знаю! Сплетем веревки покрепче и, как бог даст, сплавимся по большой воде!

Ватажные загалдели, большинством поддержали казака.

– Как скажете! – согласился атаман. – Что мир решил, то Богу угодно!

Пришлая ватажка Ивана Ожегова захотела присоединиться к его людям и попытать счастья на неведомых землях. При предстоящих трудах их руки были нелишними. Из березовых корней, конских хвостов и кож казаки и промышленные наплели веревки, с молитвами столкнули в бурлящий поток тяжелое плоскодонное судно, бесившаяся река замотала его как щепку.

Все понимали, что хлебнут лиха при сплаве, но надеялись, что это продлится недолго. Спускать и протягивать коч через буруны приходилось едва ли не на карачках. Веревки то и дело рвались, ломило кости от студеной воды, в которую часто окунались и влезали по пояс. Атаман, сам мокрый, отводил душу на нерадивых, те ругали судьбу. И только Чуна невозмутимо лежал в мотавшемся суденышке, беззаботно глядел в синее небо с ясным солнцем, чесал длинные волосы костяным гребнем. Иногда в опасных местах среди бурунов и камней он вскакивал, начинал плясать и петь, призывая в помощь прямивших ему духов.

– Где правда? – глядя на него и выстукивая дробь зубами, заскулил Федька Катаев, которому за нерадение часто доставалось от Стадухина. – Мы надрываемся, а ясырь бездельничает.

Спутники сопели, кряхтели, но не отзывались – принуждать аманатов к работам было не принято.

В очередной раз спустив судно до тихой заводи, люди попадали от усталости, надрывно сипели, хрипели, а Федька вдруг громко захохотал. Кудахчущие смешки были у него в обычай, а такой редок.

– Он чего? – удивленно приподнялся на локте скуластый Ожегов, передовщик приставшей ватажки.

Его связчик Ивашка Корипанов дышал захлебисто, грудь под мокрой кожаной рубахой ходила ходуном. Чуть успокоившись, перевернулся на бок, ткнул Федьку.

– Эй? Ты чего?

От тычка Федька захохотал громче и засучил ногами в раскисших бахилах. Глядя на него, стали похохатывать другие казаки и промышленные.

– Умишком оскудел или что?! – Старший Стадухин окинул его хмурым, неприязненным взглядом, отжал мокрую бороду.

Не унимаясь, Федька стал тыкать пальцем в лежавших рядом с ним Ожегова и Корипанова.

– Мы-то на государевом жалованье... Они за что купаются?

Промышленные смущенно переглянулись, кто-то должен был ответить взбесившемуся казаку.

– Воля сытой не бывает! – буркнул Пантелей Пенда и скрюченными пальцами распушил свившуюся в веревку бороду. – В хлеву оно, конечно, легче.

Пашка Левонтьев отряхнулся, как помятый петух, вытянул шею, поучающе изрек:

– В поте лица своего надлежит добывать хлеб свой! – Мокрые лохмы над его ушами торчали рожками, на лысине блестели капли речной воды и пота.

Федька вымученно улыбнулся, сжал губы. Ожидая продолжения спора, измотанные люди переводили глаза с него на Пашку, с Пашки на Пенду и заметили вдруг, что могут разговаривать без крика. Река менялась.

Старому промышленному доставалось не меньше, чем молодым спутникам, и уставал он так же, но не роптал. Казаки и промышленные примечали, что при однообразных тяготах пути он отпускал свое тело на труд, уносясь куда-то душой. При этом глаза его, как у слепца, неподвижно и мутно темнели в провалах под бровями и оживали, когда промышленного окликали.

– Вот и я говорю! – обрадовался поддержке атамана, мотая слипшейся бородой. – Здесь уже легче, чем в верхах. Может быть, осталось-то потерпеть пять-десять верст. Не бывает рек без конца бурных.

Он настороженно разглядывал притихшего Федьку с удивленно застывшим лицом, Гераську, уткнувшегося в мох. Плечи брата подрагивали, младший то ли трясся в ознобе, то ли плакал. Мишка Коновал, всегда беспричинно усмехавшийся большим шрамленным ртом, с обычным своим видом смотрел на пройденные буруны.

– Если не вмоготу, – подобрел атаман, – можно отдохнуть. – Пошлем ертаулов посмотреть, далеко ли тихая вода.

– Ясыря! – тыча пальцем в аманата, очнулся и опять закудахтал Федька. – На кой он нам, если под него ни выкуп не дают, ни ясак?

– Ты Чуноу не ругай! – осадил казака старший Стадухин. – Его водяной дедушка любит. Может быть, ради него коч цел. Чудом провели через камни... Пусть сидит и камлает.

Река стала шире, сжимавшие ее горы – ниже, а вскоре, камни сменились зеленоватым сопочником. Из малинового туманного востока выползло низкое солнце и закатно замаячило за кормой. Наконец-то коч привольно поплыл по быстрому течению реки, гонясь за своей тенью. Он уже не застревал на перекатах, но цеплялся за песок и окатыш, если на борт взбиралась вся ватага. А потому половина стадухинских людей бежали берегом, другие, с шестами и веслами, не меньше их уставали править судном. Казаки и промышленные поочередно менялись, и только Михай Стадухин с Чуной, постоянно оставались на судне.

Лес по берегам становился гуще верхового, по всем приметам в нем должен был водиться соболь, на отмелях видны были лосиные и олени следы. В заводях кормились утки и гуси, большие стаи плавились по стрежню вместе с кочем. После голодной зимы ватажные отъедались птицей. Атаман обеспокоенно осматривал берега: от самого зимовья ватага не встретила ни одного человека, а тойон Ува говорил, что на Моме много народу. Между тем все еще Оймякон или уже Мома оставались пустынными, необжитыми, и чем легче становился путь по неведомой реке, тем чаще заводился разговор о том, куда она ведет.

– Вода мутная, течение быстрое, похоже на Индигирку! – оглядывался по сторонам Пантелей Пенда. – Но я ходил тундрой, промышлял на краю леса.

Старший Стадухин окликал Дежнева:

– Ты в Верхнем Индигирском у Митьки Зыряна служил. Похожа река на Собачью?

Дежнев, щурясь, вертел головой, прикладывая ладонь ко лбу, дурашливо округлял глаза в цвет неба и отвечал, желая порадовать земляка-атамана:

– Индигирка шире, берег похож, но лес реже.

Он со своими бедами до сих пор хромал, хотя раны затянулись. По соображениям атамана, земляк был здоров, но прикидывался больным, он часто ругал его, а Дежнев только с укором вздыхал и набожно возводил глаза к небу:

– Тебя Бог милует, а ты меня коришь, не зная, каково страдать Христа ради. Грех! Грех! Ну, да ладно. Бог простит! Ангела тебе доброго! – На его лице, посеченном веселыми морщинами, Михею чудилась насмешка и даже похвальба своим терпением.

– Вокруг чужой женки козлом скачешь, как работать – так калека!

Казачи тоже подзуживали Семейку. Самый отъявленный лодырь и плут, Федька Катаев божился, что видел его бегущим, когда тот, голодный, догонял раненую куропаху. А как, дескать, заметил его, Федьку, так опять захромал.

Благодаря легкому характеру насмешки и ругань отскакивали от Семейки, как сухой горох от стены, и не портили его пожизненной радости. Бездельем он не томился: даже сидя в кочке, перебирал вымороженные шкурки, связанные в сорока, те, что с жиром на мездре, скоблил коротким широким ножом. Его неспешность в делах и неунывающий нрав злили атамана, носившегося по кочке в предчувствии какой-то беды.

Еще зимой от него обособились братья. Они ждали от старшего поблажек, но он знал, какими распрями это может обернуться. Время от времени пытался заводить душевные разговоры – не получалось. Братья пугливо поглядывали на него и доверительно жаловались Дежневу, с которым были в большой приязни:

– И спать-то по-людски не может: ляжет последним, вскочит первым... Даст бог вернуться в Ленский – больше с ним не пойдем.

– Так ведь власть, соблазны, – с пониманием утешал их Семейка. – Не по благочестивой старине – помыкать слабыми, но здесь над ним никого, кроме Господа! Вот и люзует Его попушением. Разве я нарочно под стрелы лез? Судьба – принять муки. А он всю зиму попрекал. Терплю вот Христа ради. Это вы – люди вольные, промышленные, а я – служилый.

Река стала еще глубже, уже вся ватага набивалась в коч, судно проседало по самые борта, но люди не били, не мочили ног.

– Течение быстрое! – оглядываясь по сторонам, настойчивей упреждал Пантелей Пенда. – Сильно походит на Индигирку.

Дежнев и Простокваша, ходившие с Постником Губарем, в один голос оправдывались:

– Здесь все реки одинаковы: камни, мхи, болота, деревья чуть толще казачьего уда.

Старший Стадухин ненадолго успокаивался, но уже вскоре, сверкнув глазами, хватал шест, неся с ним на нос кочка, тыкал в дно по одну, по другую сторону бортов, что-то заподозрив, оглядывался.

– Семейка! – опять звал Дежнева.

Тот, шлепком сбив шапку до бровей, покладисто вертел головой, чесал затылок.

– Не-ет! – отвечал позевывая. – Собачья ширше!

Слова земляка успокаивали атамана. Он бросал шест на место, вставал к рулю, оттеснив Пантелея Пенду.

– Подгребай, бездельники! – окликал казаков, сидевших на веслах. – Разворачивает поперек течения.

И плыли они так еще два дня. После купаний в верховьях радовались отдыху, пригревавшему солнцу, беззлобно посмеивались над атаманом, которому не сиделось на месте. Вдруг с тупого носа кочка раздался его душераздирающий крик.

Как ни притерпелись казаки и промышленные к беспокойному нраву Михея Стадухина, к его непомерной ярости во всяком деле, но в этом вопле им почудилось отчаянье раненого. Выпучив глаза и разевая рот в двуцветной бороде, он смотрел вдаль и указывал на берег. Там среди редколесья виднелось русское зимовье с частоколом и крытыми воротами, над которыми возвышался Животворящий крест.

– Да это же Зашиверское! – весело вскрикнул Семейка Дежнев, хлестнув себя ладонью по шапке. – То самое, что Губарь ставил. Я тут был с Митькой Зыряном! По Индигирке плывем, братцы! Вот ведь как водяной дедушка глаза отвел!

Атаман метнул на него бешеный взгляд, застонал, сощурился глазами, провел ладонями по лицу, сгоняя прилившую кровь, обернулся со скорбными неподвижными глазами.

– Ну что с того, что сразу не узнал реки? – виновато развел руками Семейка. – Назад бы все равно не повернули, сюда же и пришли бы.

Как-то разом осунувшись, Стадухин скомандовал сиплым голосом:

– Гребите к берегу!

Его спутники кто с радостью, кто с тоской глядели на крест с явно жилым приближавшимся зимовьем. Судно было замечено. На берег вышли три бородача, одетые по-промышленному: один с саблей на боку, двое с топорами на поясе. Коч встретил ленский казак Кирилл Нифантьев. Он был из отряда Постника Губаря, с которым, на беду свою или к счастью, не ушел в свое время Михей. Узнав его и Семена Дежнева, Кирилл крикнул:

– Нам на смену посланы?

– Плыдем своим путем! – уныло ответил Стадухин, подергивая рыжими усами. И добавил, хмуря брови: – По сказкам якутского князя думали, что по реке Моме, оказалось – по Индигирке.

– Заходите в зимовье, сколько набьетесь, – рассмеялся Кирилл, оглядывая три десятка гостей. – Чего гнус-то кормить?

Потеряв обычную резвость, Михей сошел на берег, за ним попрыгали на сушу казаки и промышленные.

– Аманата ковать или как? – спросил Вторка Гаврилов.

Михей отмахнулся, морщась:

– Пусть гуляет! Куда ему бежать?

Зимовье было обычным казачьим пятистенком. На одной половине, в казенке, жили аманаты, на другой – служилые и охочие люди. В сенях стояли три пищали, в полутемной комнате с маленьким оконцем сильно пахло дымом и печеной рыбой. В казенке на лапнике равнодушно сидели три тунгуса, прикованные цепями к стене. Зимовейщики раздули огонь, сбегали с котлами за водой.

– Квасу давно нет! – со вздохами оправдался Кирилл. – Хлеба тоже. Кормимся рыбой и птицей. Ушицы поедите? – спросил неуверенно.

– Сыты! – смиренно отказался атаман. – Хлеба у нас тоже нет. Последнюю саламату перед Пасхой выхлебали.

На расспросы Кирилла он отвечал небрежно и кратко:

– По наказной памяти нынешних воевод зимовали на Оймяконе. Стужа там лютая, место голодное. Андрейка Горелый, – кивнул на казака, – с промышленными людьми и якутами ходил за Камень, на Ламу, к тамошним ламутам, они им зад надрали. Слава богу, вернулись живы. По наказу наших воевод плывем искать новых земель и народов, а тут вы...

– Ну а мы как ушли с Постником с Яны, так здесь служим.

– Губарь рассказывал, – рассеянно обронил Михей.

– На Яне зимовали в перфильевском Верхоянском зимовье, – Кирилл перевел глаза с атамана на казаков и промышленных, которые внимательно слушали. – Якуты там жаловались на юкагиров, что грабят, холопят. Весной, в конце мая, на конях и волоком перешли мы с ними из Ондучея в Товстак, потом на Индигирку, повыше здешних мест. Построили струги, с боями сплыли до юкагирских земель, поставили зимовье. В зиму было несколько осад – отбились, взяли аманатов. Осенью на стругах ходили вверх по Индигирке, врасплох на рыбалке, захватили юкагирский род князя Иванды, – мотнул бородой в сторону горницы и сидевших там тунгусов, – взяли под них ясак сто десять соболей.

– Где же те люди? – со скрытой обидой спросил Михей. – Ни одной души не видели, чтобы спросить про реку.

Кирилл уныло рассмеялся и продолжил прерванный рассказ:

– Потом Постник с ясаком пошел в Ленский, и осталось нас здесь шестнадцать человек. А как на перемену прибыли Митька Зырян с Семейкой, – указал на Дежнева, – стало еще меньше. Здешние ясачные юкагиры куда-то ушли. Зырян поплыл за ними вниз по Индигирке и, по слухам, за полдница до моря поставил зимовье на земле олюбленских юкагиров.

– То-то мы никого не видели, – досадливо крякнул Михей.

– Выходит, так! – кивнул Кирилл. – Хотите быть первыми – плывите дальше. Юкагиры сказывают, к восходу есть река шире здешней. Народов на ней много, и кочующих, и сидячих. А падает она, как Лена, в Студеное море... Пойдете? – Хохотнул, подняв брови, обнажая желтые шербатые зубы под усами.

– Теперь туда ближе, чем обратно... Да несолоно хлебавши, – разглядывая заложников, пробормотал Стадухин. И спросил: – Не страшно втроем при трех аманатах?

– Страшно! – посуровев лицом, признался Кирилл. – Нас пятеро: другие рыбу ловят. Юкагиры откочевали, когда вернутся неведомо. Захотят отобрать сородичей силой – нам не устоять. Перебьют. Оставил бы нам с полдесятка промышленных. Здесь промыслы добрые, соболь хорош, зимовье готовенькое. А дальше к полночи – голодная тундра.

Михей обернулся к Пантелею Пенде, вопросительно взглянув на него затравленными глазами. Тот разлепил сжатые губы, равнодушно согласился:

– Кто хочет, пусть здесь промышляет. Я с тобой пойду!

Стадухин обвел усталым взглядом людей, сидевших вдоль стен.

– Есть желающие помочь годовщикам?

– Мы бы остались, – за всю пришлую ватажку ответил Ожегов. Косматая борода на скуластом лице топорщилась путаными прядями. Он чесал и приглаживал ее, пропуская сквозь скрюченные пальцы, пристально вглядываясь в глаза атамана. Никто из его людей не спорил, хотя Иван говорил без совета с ними.

– Ну и с богом! На коче тесно.

– Остались бы, да не с чем, – не мигая, поджал губы передовщик и, не дождавшись предложений, попросил: – Дай пороху, свинца и соли. Поделись!

– Даром, что ли? – сощурившись, захихикал Федька Катаев.

– Задаром только в острогах бьют! – хмыкнул в бороду веселый от встречи со знакомыми людьми Кирилл Нифантьев и беспечально пригладил кабаний загривок волос, нависший между плеч.

Сдержанный смешок прокатился по зимовью.

– Ладейку строили для реки! – тихо, но внятно проговорил Пантелей Пенда из угла. – Если идти морем – нам половины людей хватит, не то потонем.

– Служилых оставить не могу, а промышленным – воля! – объявил атаман и заметил, как просияли лица братьев. – Неужто и вы останетесь? – тихо спросил Тарха.

– Нам никак нельзя вернуться без добычи! – смущенно ответил тот. – Государь жалованья не платит.

– На новых-то землях, где допреж ни казаков, ни промышленных не было, продадите товар вдвое против здешнего, – стал неуверенно прельщать братьев Михей и вспомнил, что то же самое говорил в Ленском остроге.

– Что за товар? – привстал с лавки Кирилл. – Прошлый год были люди купца Гусельникова.

Михей удивленно выругался:

– Везде успевают, проныры пинежские! – Глаза его остановились на беззаботно улыбавшемся Дежневе. – Одного казака могу оставить!

Добродушное лицо Семейки резко напряглось, глаза сузились.

– Нет! – просипел он, до белизны пальцев вцепившись в лавку, и метнул на атамана такой леденящий взгляд, что тот недоуменно хохотнул. – Зря, что ли, коч строил?

Михей перевел взгляд на Гришку Простоквашу. Тот громко засопел, неприязненно задрал нос к потолку.

Герасим, заводивший глазами, как только зашла речь о товаре, стал громко перечислять, что им взято для торга. Федька Катаев, кудахта, вторил о своем. К ним придвинулись зимовейщики, а промышленные приставшей на Оймяконе ватажки стали рядиться.

– Вы бы дали нам по две гривенке пороха, да по две свинца, да соли по полпуда...

– Чего захотели, – загалдели казаки. – Соли самим мало.

– Вы по морю пойдете, напарите...

Торговались долго. С рыбалки вернулись двое зимовейщиков. Бросили в сенях невыпотрошенную рыбу и ввязались в спор, будто соль, порох, свинец нужны были им самим.

Чуна, вольно сидевший среди казаков и презрительно поглядывавший на прикованных аманатов, сказал вдруг:

– На Погыче-реке народу много, народ сильный, перебьет нас без ружей!

На миг в зимовье наступила такая тишина, что стал слышен комариный писк.

– Охтенки! Опять заговорил! – недоуменно пробормотал Вторка Гаврилов.

– Молчал-молчал, слушал-слушал и затолмачил! – Коновал поднял густые брови, растянул половину рта в удивленной улыбке. – Хоть возвращайся на Охоту.

После полудня все сошлись на том, что Михей Стадухин возьмет на себя четыре сорока ожеговских соболей за выданный ватажке припас. Герасим за время похода продал половину товара, частью дал в долг под кабальные записи ожеговским и своим людям, он хотел остаться на Индигирке, чтобы получить долги после промыслов.

Михей согласился, что это разумно: искать должников по Сибири, перепродавать кабальные записи – дело суетное, соглашался и с тем, что Тарху безопасней остаться здесь, но ныла под сердцем обида, что братья молчком винят его за прежние неудачи. «Силком счастливым не сделаешь!» – подумал и благословил их.

Ночевали казаки и промышленные возле зимовья: кто на коче, кто у костров. Стадухин, услышав про новую реку, оживился, повеселел. Светлой северной ночью, как всегда, он успокоился последним, а одеяло сбросил первым. Розовело редколесье, небо было голубым и ясным до зазолотившегося восхода. Сон атамана был недолгим, но глубоким. Михей сполоснул лицо, положил семь поясных поклонов на лиственничный лес, разгоравшийся под солнцем в цвет начищенной меди, и стал будить товарищей.

Промышленные спали, пряча от гнуса выпачканные дегтем лица. Иные закрывали их сетками из конского волоса. Все слышали атамана и наслаждались тем, что больше ему неподвластны. Проводить судно поднялись только трое, среди них два отчаянно зевавших брата.

Тринадцать казаков, аманат и Пантелей Пенда оттолкнулись шестами от берега, коч подхватило течение реки. Братья вернулись в зимовье, а промышленный, глядя вслед удалявшемуся судну, спустил портки и стал мочиться. Стадухин склонился к воде, высматривая посадку, распрямылся и крикнул ему, заправлявшему кушак:

– Дерьма-то вполовину убыло!

Скальный порог они прошли не замочив ног. За ним потянулись узкие полосы леса, вклинившиеся в тундру. Налегая на весла, гребцы спешили на полночь, Стадухин, как всегда, поторапливал их, бегая с кормы на нос:

– Веселей, братцы! Лето коротко, а нам надо поспеть на Алазею-реку, где до нас никто не бывал!

И шли они так до Олюбленского зимовья, поставленного на тундровом берегу неподалеку от моря. Светило солнце, по берегам зеленел пышный мох, старицы и озера были черны от птиц, покачивался на ветру прибрежный ивняк. Близость моря ощущалась по менявшимся запахам и цвету неба, которое поднималось все выше и становилось ярче. Прохладный, не речной ветер разгонял гнус.

Против зимовья, к которому спешил отряд, стоял коч не больше четырех саженой длиной, борта из тонких полубревен притундрового леса на аршин возвышались над водой, нос судна был обвязан потрепанными связками прутьев: по виду коч недавно выбрался из льдов. Распахнулась дверь избы, на берег вышел ленский казак Федька Чукичев. Свежий ветер трепал его богатую, в пояс, бороду, покрытые собольей шапкой длинные волосы, в глазах служилого лучились самодовольство и дерзость, с какими обычно возвращались из дальних странствий казаки и промышленные люди.

«А уходил простым, неприметным, – окинул его завистливым взглядом Стадухин. – И в ленских службах не из первых».

– Мишка, ты, что ли? – узнал и его годовальщик.

Федор прибыл на Индигирку с отрядом Постника Губаря. Как и Кирилл Нифантьев, он был из тех людей, с которыми в свое время не пошел Михай, прельстившись Алданом. Встречи с ними казались бы ему бесовской насмешкой, не пошли Господь Арину. Память о временах, проведенных с ней, грела душу, она же мучила повседневной тоской.

«Ждет, что вернусь к осени», – думал с душевной болью, удаляясь от жены все дальше и ради нее тоже. Понимал, что никому из его удачливых товарищей не довелось пережить такого счастья, какое пережил он. Этим утешалась зависть к ним, но не душа.

Бок о бок с Федькой Чукичевым к реке вышли его сослуживцы: Иван Ерастов по прозвищу Велкой и Прокопий Краснояр. Как и Федька, они были одеты в дорогие меха. Третий, со знакомым лицом, выглядел проще. Где-то на Куте или в Илимском Стадухин видел его среди людей Головина, наверстаных в Тобольске.

– Откуль плывем? – задрав нос, спросил Федька еще не приставших к берегу казаков.

– С верховий!

– А туда каким хреном?

– Конями с Алдана через Оймякон.

– С Охоты и с Ламы! – добавил Андрей Горелый, с любопытством разглядывая наряженных в меха казаков. – Слыхали?

Федька с Прокопом переглянулись, заблестели глаза на вычерненных солнцем лицах, которые, казалось, ничем нельзя удивить.

– Ивашка Москвитин оттуда вернулся, – пояснил мало знакомый Михею служилый и добавил: – Я говорил!

Коч причалили к берегу, с него сошли все прибывшие.

– И куда? – не отставал с расспросами Чукичев. – Мы перемены не ждем.

– Напоили бы, накормили, после расспрашивали! – с напускной важностью ответил Стадухин. – Сами-то куда собрались? – указал на потрепанный коч. – Или пришли откуда?

– Вчера только с Алазеи от Зыряна, – ответил Федька, пропустив мимо ушей предложение накормить. – Кабы не вы, ушли бы к Лене... Я с Прокопкой и еще двое, везем ясачную казну.

В тундре гром и молния в диковинку. Однако Стадухину показалось, что над ним так громыхнуло, что дрогнули колени. Он перекрестился, усилием расправил перекошенное лицо, попросил:

– Задержитесь, расскажите, где были, а я скажу о своем.

Рыба и утятина: печеная, вареная, вяленая, тухловатый душок юколы, саламата из привезенной сменщиками муки – по понятиям отдаленных зимовий, здешние насельники пировали с прибытием смены и окладов. Потекли неторопливые рассказы людей Стадухина о голодном и холодном Оймяконе, о сытой реке Охоте, где рыбу ловить не надо, сама на берег лезет.

Для себя они узнали, что смененный на Яне сыном боярским Василием Власьевым казак Елисей Буза сплыл в Янский залив и нынешним летом собирался вернуться морем на Лену. Он добыл тысячу и сотню соболей для одной только казны да двести восемьдесят собольих

спинок, заимел четыре собольих шубы, девять собольих кафтанов. Будь Буза пронирлив, вроде Парфена Ходырева, с таким богатством мог бы в Москве поверстаться в придворный чин.

В прошлом году с Лены на Индигирку посылали пятидесятника Федора Чурочку, с которым Михай Стадухин служил в Енисейском гарнизоне. Под его началом шли три коча промышленных и торговых людей. За Святым Носом, что тянется в море между Яной и Индигиркой, буря выбросила его суда на камни. Люди пошли на Индигирку пешком и погибли. Спасся только один промышленный.

Михей смахнул с головы шапку, перекрестился. Он рвался в этот поход, ругал судьбу и ангела, а вышло так, что в одно и то же время Бог миловал Бузу богатой добычей, Митьку Зыряна – новой рекой, его, Стадухина, удерживал, а Чурку со спутниками призывал через погибель.

В прошлом Митька Зырян со служилыми и промышленными людьми сплыл сюда с аманатами с Верхнего Индигирского зимовья. Но объясаченные им юкагиры бежали еще дальше, на реку Алазею. Зимой его казаки и промышленные построили из плавника два струга. Едва потеплело и разнесло льды, зыряновский отряд из девяти служилых и шести промышленных отправился искать бежавших ясачников на неведомой реке. Его суда вышли из Индигирского устья в море, с попутным ветром за сутки добрались до устья Алазеи, шесть дней поднимались в верховья до кочевий юкагирского тойона Ноочичана.

С тем князцом пришлось воевать. Ему на помощь приходили чукчи: народ сильный, воинственный, многочисленный. В боях с ними все митькины люди были переранены, уже теряя надежду отбиться, им удалось застрелить упрямого тойона Ноочичана. Его люди не покорились казакам, но поспешно ушли дальше, бросив раненым одного из своих знатных мужиков.

Отряд Зыряна добрался до мест, где сходились тайга и тундра, поставил там укрепленное зимовье с острожком. Зимой на собачьей упряжке к ним приехал главный алазейский шаман, стал ругать, что живут на его земле и требуют ясак. Исхитряясь, служилые поймали его и приковали к стене зимовья. Юкагиры несколько раз подступали к острожку, пытались освободить шамана, потом смирились и дали ясак – семь сороков соболей добрых.

Той зимой к ним опять приезжали чукчи на оленях. Поймать кого-нибудь в аманаты перераненым людям Зыряна было не по силам, но поговорить удалось. Зимовейщики узнали, что чукчи живут в тундре промеж рек Алазеи и Колымы, что с Алазеи на Колыму на оленях три дня хода. Про русских служилых и промышленных людей они не слышали и не понимали, почему должны давать царю ясак. Да и взять-то с них было нечего – соболей в тундре нет.

– Значит, Колыма! – свесил голову Стадухин. – А сколько до нее идти морем – никто не знает. – Помолчав, встрепенулся: – Это хорошо! И когда собирается туда Зырян? – Рассеянно оглядел его людей.

– Мы из зимовья уходили – коч смолил! – Казак Ерастов-Велкой, икая, разглядывал котел с остатками выстывшей саламаты. – Должен ждать меня с мукой на устье Алазеи. Людей у нас мало, аманатов много.

– Ну и ладно! – Михай обернулся к своим казакам, внимательно слушавшим алазейских служилых. – Андрейка! Ты ранен, – обратился к Горелому. – Бери-ка Гришку Простоквашу, Семейку Дежнева, всю нашу казну и плыви с Федькой в Ленский. Зачем казенных соболишек вести на неведомую реку в другую сторону?

– Мне-то в Ленском что надо? – Дежнев побагровел и бросил на атамана пронзительный взгляд. – На правезж за кабалу? С голым задом в работники к тестю-якуту?

– Под бок к жене! – засмеялись казаки. – С Простоквашей уходил от Зыряна, с ним от нас вернешься! Вдруг воевода наградит!

– Ага! Батогами!.. – Семен заводил выстывшими глазами и резко вскрикнул: – Нет! Пока не добуду богатства – на Лену не вернусь!

– Какой от тебя прок? Кашу варить, так не из чего, – съязвил Стадухин.

– Не поеду! – резче вскрикнул Семейка. – Лучше здесь останусь. Сгожусь при малолетстве.

– Сгодится! – согласился Ерастов со сдержанной радостью. – На Алазее каждому промышленному рады... Заодно и я с вами туда уплыву, покажу короткий путь протокой.

– И то правда! – согласился Михай и обернулся к Дежневу: – Ты с Митькой служил, как-то ладил с ним, не то, что я.

– Да с ним служить легче, чем с тобой! – успокаиваясь, огрызнулся Семейка.

Пособный ветер отогнал льды от устья Индигирки. Дорожа каждым часом, оба коча стали готовиться к морскому плаванию. Стадухин скрипел пером, отписывая челобитную ленским воеводам. Закончив, перечитал вслух, при свидетелях и очевидцах опечатав казенные меха. Горелый потребовал Чуну, чтобы отвезти воеводам, Михай отказался выдать аманата, заявив, что тот нужен ему как толмач.

Алазейский казак Ерастов загрузил на стадухинский коч мешки с мукой, привязал к корме стружок, на котором собирался возвращаться. Одиннадцать казаков, Пантелей Пенда и Чуна взошли на борт, шестью и веслами вытолкали судно на глубину. Ветер рябил воду устья реки, коч схватил его кожаным парусом, поплыл в полночную сторону. За ним пошел зыряновский коч с Федькой Чукичевым, Андреем Горелым, Гришкой Фофановым-Простоквашей, со стадухинской и зыряновской казной, с челобитными от атаманов.

Вскоре суда разошлись. Чукичев направился основным руслом, Стадухин – указанной Ерастовым проходной протокой – к восходу. Гребцы налегали на весла, за кормой, натягивая веревку, болтался и задира нос пустой стружек. У края высокого синего неба сияло солнце, сливаясь с ослепительно синей водой. Вдоль бортов тянулась болотистая, кочковатая тундра с сотнями малых озер, они были темны от птиц. Где-то беспрестанно кричали журавли. Стаи уток и гусей поднимались с протоки, с вопрошающими кликами носились над мачтой, снова садились на воду впереди судна. Мишка Коновал и Ромка Немчин стреляли по ним из луков, стараясь бить точно по курсу. Затем, свесившись с бортов, подбирали добычу. Стадухин приглушенно ругал их, не желая останавливаться ради упущенных подранков и потерянных стрел.

Казалось, совсем недавно наступило лето, были пройдены студеные буруны верховьев Оймьякона. Но вот уже местами по-осеннему желтели равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, все сильнее раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и безоблачное небо над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с полуночной – колыхалась яркая синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в дымке виднелись горы.

Стадухинскому кочу повезло: дул юго-запад, попутный для пливших на Алазею и противный для возвращавшихся на Лену. При том устойчивом ветре судно шло полные сутки. Солнце присело над тундрой, но светлый день без признаков сумерек продолжался до его нового восхода. Около ясной полуночи Пашка Левонтьев, с обнаженной покрасневшей от солнца лысиной, сидел под мачтой на лавке-бети, молча перелистывал Библию, что-то выискивая глазами. На корме стоял Пантелей Пенда, его белая борода флагом указывала восток. Михай с шестом в руках измерял глубины: шли в изрядном отдалении от берега, но под днищем была опасная мель.

– Вот оно! – торжествуя изрек Пашка, потрясая перстом. – Не дал Чуно Андрейке Горелому, оставил как равного, а во Второзаконии сказано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь все ниже и ниже».

Говорилось это для атамана, но так, чтобы слышали все. Стадухин не оборачивался, занятый важным делом: положив шест поперек судна, что-то долго высматривал по курсу, потом также громко ответил:

– Чуна – ясырь, а не пришелец! – Махнул рукой, подзывая к себе казака.

Пашка закрыл книгу, положил на беть, не спеша подошел к нему.

– Гляди-ка, что там, если еще не испортил глаз чтением? – И тут же окликнул Ерастова. Все трое уставились вдаль. – Похоже, коч и две лодчонки...

– Митька! – радостно вскрикнул зыряновский казак. – Ждет меня с мукой.

Стадухин указал направление. Пенда окликнул дремавших казаков, они потянули возжи⁵. Скрипнула мачта, слегка накренилось судно и послушно пошло куда смотрел атаман.

Мореходы не ошиблись: в заливе стоял на якоре коч Дмитрия Зыряна, его люди ловили рыбу. На веревках, натянутых от мачты во все стороны, качалась распластанная юкола.

– Собирается в поход, запасается кормами! – разглядывая судно, язвительно проворчал Михей.

Вдали от алазейского коча сновали две легкие лодки, с бортов торчали удилища. Смурная тень скользнула по лицу Стадухина: издали он узнал Ивана Беляну и Селивана Харитонову из отряда Постника Губаря. Те тоже узнали его, помахали в ответ на приветствие. Самого Зыряна не было видно. Семейка Мотора в лодке поднял руку ко лбу, присмотрелся. Они с Михеем хорошо знали друг друга по Енисейскому гарнизону.

– Где Митька? – издали крикнул ему Стадухин, приложив ладони к бороде.

Беляна что-то жевал, его неухоженная борода с блесками чешуи равномерно шевелилась. Он покосился на корму, показал знаком: спит!

– Так разбуди, я муку привез.

Беляна смутился, торопливо дожевывая и опасливо зырякая в одно и то же место.

– Не велел! – ответил негромко и бросил за борт рыбий хвост.

– Зажрался? – обернулся к Ерастову Стадухин. – Хлеб ему не нужен? – Обидчиво заерепенился. – Раз не хочет встретить по добру – таскайте мешки со струга. Не буду приставать к борту!.. Демидыч, становись на якорь.

– Вы что там? – возмущенно закричал Ерастов своим казакам. – Мухоморов нажрались?

Но Зырян не показывался, а Стадухин не соглашался приткнуться к его борту, чтобы перегрузить муку. Поругивая атаманские склоки, казаки помогли алазейцу перекинуть пятипудовые мешки в струг.

– Друг твой, Митька, прячется от меня, – Стадухин обернулся к Дежневу с раздосадованным лицом. – Ты с ним как-то ладил, а у меня в общих службах что ни день, то драка.

– Ладил! – похвалился Семейка. – Он сильно поперечный.

– Помню! – выругался Михей. – Что ни скажешь, сделает наперекор – даже если себе самому во вред.

– Разом вспыхивает, зато и остывает быстро, – добродушно усмехнулся Семейка. – Если с умом – с ним всегда можно договориться: давай совет наоборот, сделает как надо!

Стадухин неприязненно фыркнул:

– Я бы еще перед ним хвостом не мел! Вот и плыви, калека, растолкуй, как умеешь, что при нашем-то с ним малолюдстве лучше бы не ходить поодиночке в неведомые земли к сильным народам, а быть заодно. – Наклонился за борт к Ерастову, раскладывавшему мешки в струге: – Возьми Семейку, поможет выгрести!

– Послал бы двоих! – Казак вскинул на атамана потное, злое лицо.

– Ромка! – Михей окликнул Немчина. – Сходи с Семейкой. – И спохватился: – Нет! Нашу ветку возьми, а то Митька обратно не пустит, пока силой не вызволю! – Снова выругался. – Как же, алазейский хозяин, вынуждает идти на поклон!

Стадухинское судно встало на свой якорь. Струг с хлебом и болтавшейся берестяной обожел коч, обвешанный юколой, затем Дежнев и Немчин показались на нем среди алазейцев.

– Надо бы и нам запастись кормами, – пробормотал Стадухин. – Митька знает, что делает.

⁵ Возжи – тросы, с помощью которых управляли прямым парусом.

Другой лодки на коче не было. Служилые стали удить рыбу с бортов. Вскоре Семейка Дежнев один сел в берестянку, перекидывая весло с борта на борт, стал возвращался. Причалил к борту, придерживаясь за него, встал в рост на шаткой лодчонке.

– Почти уговорил Митьку! – Смешливо взглянул на атамана. На красном иссеченном ветрами лице его глаза казались белыми и бездонными. – Ни слышать про нас не хотел, ни знать. Говорил, Алазея и Колыма – его реки, потому что первый услышал про них. Я ему пригрозил: снимемся, говорю, с якоря, уйдем вперед – и твоя река станет нашей!

– Правильно сказал! – похвалил земляка Михей. – А что Немчин? В аманатах или винцом угощается?

– Откуда у них вино? Уговаривает... Все согласны с нами, но боятся спорить с Митькой, а он бахвалится. Велел передать – только с тобой будет говорить, если сам придешь!

– Так и знал! – Михей мотнул головой с заледеневшими глазами, приосанился. – Не может жить мирно, хоть убей зловредного!

– Ерепенитесь, как юнцы, – хмурясь, укорил Пантелей.

Михей постоял, глядя на чужой коч и разъяренно шевеля рыжими усами.

– Можно и съездить, коли зовет, – согласился, пнул что-то подвернувшееся под ногу.

– А еще говорил, чтобы мы оставили ему двух служилых аманатов караулить, – добавил Семейка.

– Дулю ему на гладкое пермяцкое рыло! – рыкнул Стадухин. – Вылезай давай! – поторопил земляка.

Семейка, морщась, неловко перекинул ногу с берестянки на коч.

– Не дразни его редкой бородой! – посоветовал. – Не любит! И не грози – упрется!

– На ветке не поплыву! – вдруг передумал Стадухин. – Под борт к Зыряну встанем! Командуй, Демидыч! – приказал Пантелею Пенде.

Старый промышленный, раздраженно покряхтев, велел поднять якорь и на веслах подвел коч к другому судну. Снова бросили якорь, стравили трос из конского волоса и приткнулись к борту. Казаки ворчали – таскали мешки с мукой ради бахвальства атаманов. Два судна мягко сошлись и счалились. Знакомые и земляки стали перескакивать друг к другу. Селиван Харитонов с Иваном Беляной весело скалились, глядя на Стадухина.

Мотора подогнал к борту лодку со свежим уловом и вылез на коч. Старые сослуживцы не виделись несколько лет. Дальняя служба не переменяла его, Семейка Мотора выглядел таким же тихим и покладистым, чему способствовали маленький скошенный подбородок и верхняя губа, грибком нависавшая над ним. Негустая борода не скрывала их и придавала казаку добродушный вид.

Стадухин, не приметив в людях Зыряна большого зла и укоров из-за лишних трудов с перетаскиванием муки, слегка подобрел, добросердечней поприветствовал ленских казаков, оценивающим взглядом окинул их коч. В простой замшевой рубаше и нерпичьих штанах, заправленных в чирки, Зырян сидел на корме под рулевым веслом и с важностью кремлевского служки буравил Стадухина пристальным взглядом. Михей усмехнулся, приосанился, крикнул с напускным весельем:

– Встречай дорогого гостя! – Сбил шапку на ухо, поправил саблю и перескочил на другой борт. – Добрые у тебя ноги, – потрепал пеньковую растяжку мачты. – Будто новые. Где взял? Ты ведь пятый год в дальних службах.

– У меня и якорь железный! – прихвастнул Зырян, напряженно разглядывая Стадухина водянистыми глазами. Ветер трепал три тощих и длинных пряди бороды, свисавших со щек и подбородка.

– И где же добыл такое богатство? – не унимался Михей, разглядывая новые снасти.

– На Индигирке у промышленных долгились.

– Федька в Олюбленском про промышленных не говорил. Чьи были?

– Прошлой весной на Индигирку пришла ватажка Афонии Андреева.
– Гусельниковские покрученники, что ли?
– Они! – круче задирая нос, неохотно отвечал Зырян.
– Вот ведь! – рыкнул Стадухин. – Успевают, как вороны на падаль. Мишка Стахеев ушел из Илимского немного раньше меня, а его люди уже здесь. Вдруг придем на Колыму, а они там! Что делать будем, а? Как славу делить? – наконец-то оставил окольные пустопорожние разговоры и заговорил о главном.

Обветренное лицо Зыряна покрылось бурыми пятнами. Он резко ответил, дергая себя за метелку бороды:

– Десятину возьмем! А если они ясак на себя брали – пограбим!
– Дело говоришь! – согласился Михей, радуясь, что какой-никакой разговор получается.
– Нынешним летом Афонька пошел вверх по Алазее в тайгу для промыслов, – продолжал десятник, все так же подергивая себя за бороду. – Но кто их, промышленных, знает...

Всем своим обликом и словами он показывал неприязнь к Стадухину, но по его ответам Михей понимал, что согласен на сговор, только хочет настоять на чем-то своем. И давний соперник, прищурясь, заговорил:

– Пойти-то можно и вместе, только кто будет главным? У тебя наказная память от нового воеводы, у меня от Галкина и Ходырева. Ты из первых на Лене, а я здесь, – распалая себя, переходил на крик. – Это мои юкагиры бежали на Колыму, кому из нас брать с них ясак?

– Тебе, раз аманаты у тебя! – перебил его Стадухин, не дав раскричаться до визга. – От нападений отбиваемся вместе. Но кого я зааманачу, с того сам буду брать.

– Не бывает так, чтобы между двумя отрядами не было споров, – с усилием остудив себя, процедил Зырян. – Ладно! Уговор при всех моих и твоих людях: ты сам по себе, я – сам, а при нужде друг другу помогать. Только у меня на Алазее людей мало. Афоня отказался сесть в зимовье на краю леса, дальше пошел. Вдруг вернутся беглые юкагиры или чукчи придут? Аманатов отобьют, Велкоя с Селиванкой за ятра повесят на нашем тыне, – кивком указал на казаков Ерастова и Харитоновна, которые должны были вернуться в Алазейское зимовье.

– Сам думай, как вам быть, а то ведь я могу и один уйти на Колыму, – с усмешкой пригрозил Стадухин и мягче добавил: – Хотя вместе надежней.

– Оставь двоих и пойдем! – предложил Зырян с напряженной неподвижностью в глазах и так дернул себя за бороду, что оттянулась нижняя губа, оскалив зубы.

Помолчав для пущей важности, Стадухин сказал:

– Бери Семейку Дежнева. Если Федька согласится – могу и его оставить. Больше никого не дам! – Отыскав глазами Катаева, спросил: – Пойдешь, коли хорошо попросят?

– Нет! – замотал головой казак и почесал промежность. Люди с двух судов приглушенно хохотнули.

– Ромка? Останешься?

Немчин неопределенно пожал плечами, не возражая против предложения.

– Там промыслы добрые, соболь хороший! – стал прельщать Селиван. – В укрепленном зимовье впятером от сотни отобьемся. И Афоня поможет, если что.

Ромка молчал. Те и другие решили, что он согласился остаться на Алазее. На том два атамана сошлись, хотя понимали, что распрям между ними быть, а уговориться обо всем, что может случиться в пути, – невозможно.

Еще один светлый и долгий северный день два счаленных коча простояли рядом. Семейка Дежнев распрощался со стадухинскими казаками, с Пендой и Чуной, простив обиды, обнял земляка-атамана и уплыл на зырянской лодке в Алазейское зимовье. Немчин же в последний миг заартачился и отказался. Зырян не стал спорить против уговора, но метнул на Стадухина такой взгляд, что тот сжал зубы и пробормотал:

– Начинается!

Ветер по-прежнему дул на восход, но небо покрылось низкой рваниной туч, стали простреливать короткие и хлесткие дожди. Люди Дмитрия Зыряна спрятали в мешки сушившуюся юколу, молча сбросили с борта швартовы попутчиков и подняли якорь. О выходе не договаривались. В это время стадухинские казаки выбирали неводные сети.

– Как всегда! – обругал десятника Стадухин. – Митька по-другому не может.

Как только сети и берестянка оказались на его коче, казаки стали выгребать на безопасные глубины. Невозмутимый Пантелей Пенда взялся за руль, не доверяя никому шест, атаман сам шупал дно, гребцы, наваливаясь на весла, пели молебен Николе Чудотворцу. Молитва была услышана: сквозь зарозовевшие тучи на воду упал желтый луч солнца. Атаман перестал ругаться, лица гребцов потеплели, Чуна вытянул руки и запел протяжную песню. Пока выгребали на безопасное расстояние от мелей, коч Зыряна убежал на полторы версты. Но вот и Пенда велел поднять парус, он вздулся, брызги от волн стали захлестывать нос судна.

Вдали от невысокого пустынного берега с крапом озер и протоков оба коча шли сутки и другие. По правому борту виднелась желтеющая тундра, по левому – плавучие льдины и далекие горы с белыми вершинами, долинами, закрытыми туманом.

– Туда не ходил? – Обернувшись к Пантелею, атаман указал рукой на горы.

– Нет! – коротко ответил старый промышленный, бросив мимолетный взгляд за льды. – А хотелось! – Помолчав, разговорился: – Иногда разводья бывают такими широкими, что льда не видно. Можно пройти! Но при перемене ветра в любой день, может зажать, как плашками, и не выпустить несколько лет сряду. А что там: какая еда, есть ли дрова? Того никто не знает – одни слухи.

– Какие слухи? – полюбопытствовал Стадухин, но Пантелей, взглядываясь в даль, не ответил.

Суда сближались, потом стали обгонять друг друга, обходя плавучие льды и мели, которые вынуждали держаться дальше от суши. Озер на берегу виделось множество, но ничего похожего на устье реки высмотреть не удавалось. Суша круто поворачивала на полдень. Дул все тот же устойчивый ветер с запада. По разумному решению надо было идти в виду берега на веслах, но коч Зыряна пошел на восход в открытое море.

– Судьбу пытается, дурья башка! – выругал соперника Стадухин и с тоской в лице взглянул на Пенду: – Неужели отстанем?

– Куда? – невозмутимо спросил тот и усмехнулся в белые усы: – К водяному дедушке?

– Что делать?

– Приспустить парус. Станет пропадать земля – грести к ней!

С печальным видом и затравленными глазами Стадухин велел казакам слушаться кормщика и сел за загрёбное весло.

– Камлай хоть, что ли? – окликнул дремавшего Чуну. – Проси у дедушки пособного ветра!

Между тем зыряновский коч превратился в точку и пропал из виду. При боковом ветре и пологой волне стадухинские казаки сутки шли на гребях. Узкой полосой темнел вдали едва различимый берег. Вскоре он снова повернул к востоку. С судна стали примечать устья речек, падавших в море, заливы, но из-за мелей не могли войти в них, чтобы пополнить запас пресной воды и рыбы.

Юкола кончилась, бочки были перевернуты вверх дном. Аманат лежал, глядя в небо, Пантелей жевал невыделанную сыромятую кожу, казаки с укором поглядывали на атамана, не давшего запастись рыбой на Алазее. Зыряновского коча не было видно, а он велел идти вдали от суши, убеждая озлившись от голода людей терпеть, при том громко расспрашивал Чуну про реку, о которой ламут слышал от своих стариков и называл ее Погычей. Чуна упорно повторял, что та река шире Индигирки.

– А это что? – указал Стадухин на очередной видимый залив. – Ручей! Ближе чем на полверсты не подойти.

Щеки его ввалились, губы истончали, глаза на изможденном лице горели и беспокойно бегали. Он чувствовал, что на судне зреет бунт. Уныло розовели стыки туч, крутые, резкие волны мелководья монотонно хлестали в борт, обдавали брызгами и раскачивали судно.

Мишка Коновал сорвался первым, сплюнул кровью на ладонь и заорал, кривя распоротый рот:

– Уморить хочешь, соперничая с Митькой?

Обернувшись к смутьяну, Михей хотел обругать его, но за спиной казака встали Артюшка Шестаков, Сергейко Артемьев, Бориско Прокопьев – те, ради кого он брал на себя другую кабалу. Пашка Левонтьев и тот смотрел с осуждением, двумя руками прижимая к животу суму с Библией. Поймав скользкий взгляд атамана, многоумно изрек:

– Сказано Господом: «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покается, прости ему».

И он укорял, хоть не показывал явной неприязни. Другие, казалось, уже готовы были схватиться за ножи. Стадухин, с изумлением разглядывая лица спутников, обернулся к другому борту. Рассудительный и немногословный Втор Гаврилов отвернулся, Ромка Немчин стыдливо потупился, показывая, что заодно со всеми. Пантелей Пенда равнодушно шевелил бородой, перемалывая зубами кожу. И только, когда рука атамана потянулась к темляку, он окинул бунтарей взглядом глубоких глаз, выплюнул за борт жвачку и внятно произнес:

– Подведу сколько смогу к суше. Спускайте ветку, плывите за водой. Только коч на месте не удержат: его выкинет на мель и будет бить волнами, пока не замочет бесследно. Это я знаю! На той суше, – указал на берег, – дай бог каждому по сухой кочке, чтобы, сидя на ней, помереть от стужи и голода, а не утонуть в болотине. А если перетерпим день-другой – дойдем до реки!

Вдруг всем стало очевидно, что на пустынном берегу, где невесть чего больше – воды или суши, их ждет верная смерть. Потеплели взгляды, опустились плечи, громко засопев носом, с виноватой улыбкой сел за весло Мишка Коновал. Федька Катаев вытягивал губы, облизывая их сухим языком.

Обессилев от голода и усталости, люди еще полдня гребли при полощущем парусе. Небо прояснялось, сквозь тучи пробивалось солнце. Из последних сил гребцы обошли торчавшие из воды камни и увидели ободранные волнами гладкие стволы деревьев, которые белой полосой тянулись по черте прибоья.

– Должно быть, устье реки! – торжествующе вскрикнул Стадухин. – Не так ли, Пантелей Демидыч?

– Похоже! – не выказывая радости, ответил кормщик.

Глубина позволила приблизиться к берегу и подойти к губе, откуда был вынесен плавник. Желтое, мутное, растекшееся по небу солнце снова закрылось тучами, стал накапливать дождь. Коч вошел в губу, илистую, извилистую и мелководную. Она была забита свежим и гниющим плавником. Над судном носились чайки, мерзко орали и пачкали гребцов пометом. Здесь, в безопасности, усталость придавила путников пуще прежнего, но чувство безнадежности переменилось тихой, выстраданной радостью: тут можно было укрыться от ветров, а вода под днищем кишела рыбой.

Левый берег со множеством черных торфяных болот был все той же низинной тундрой, тянувшейся от самой Индигирки. Правый – выше и суше, с редкими мелкими скрученными ветрами лиственницами. Гребцы подогнали коч к устью небольшой речки, где береговой обрыв переходил в невысокие тундровые холмы. Свесившись за борт, Коновал зачерпнул пригоршней воду, пробовал на вкус. Речка не походила на многоводную Колыму, но сулила отдых, питье и еду. Оставалось только найти место с сухим крепким берегом, чтобы пристать и высадиться.

Коч вошел в протоку, окруженную ивами. Здесь было тихо: зеркальная гладь без морщинки, склонившиеся к воде кусты. Послышался звон ручья. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Тучи рассеялись, ярче заблестело солнце, и над протокой изогнулась радуга. На усталых лицах гребцов появилось восторженное ожидание чуда.

– Это знак! – изрек Пашка Левонтьев, скинул шапку и задрал перст к небу.

Снизившаяся чайка дриснула на его голое темя. Гребцы устало загоготали.

– И это знак! – ничуть не смутился Пашка, вытирая лысину рукавом. – А красота-то прямо как у нас, на Руси.

Вода протоки сверкала под очистившимся солнцем, в ней отражались влажные ивы. Заскрежетав кустарником, трущимся о борта, коч приткнулся к суше. С озер донеслись тревожные крики уток. Добыть дичь здесь было не трудно, но о ней не думали. Стадухин подхватил пищаль, первым ступил на землю, склонился над ручьем, успел выпить несколько пригоршней, пока не сошли его спутники и припали к воде.

– Сладкая-то какая?! – задыхаясь, оторвался от замутившегося ручья Пашка и стал плескать на голову, уже изрядно облепленную комарами.

Стадухин, отдышавшись, вытер бороду, пересек ручей, свернул в кустарник, поплыл над ним с пищалью на прямом плече. Плотное облако комаров роилось возле его шапки. Вдруг он пропал, будто провалился, через некоторое время замычал и распрямился с зеленью в бороде.

– Идите сюда! – махнул рукой. – Много дикого лука. Сочный еще, в сыром месте.

Радуга поблекла и рассеялась. Небо с растекшимся по нему солнцем поднялось, стало безоблачным. Отмахиваясь от комаров, мореходы ползали на четвереньках по сырой поляне, пока не наелись лука. Поднялись с размазанным по лицу гнусом, вернулись к кочу. Двое казаков на берестянке завезли невод, другие потянули его и вытащили полную мотню рыбы. Здесь был и жирный голец, и чир, муксун, даже несколько нельм.

– Живем, братцы! – Мишка Коновал поглядывал на атамана с кривой виноватой полуулыбкой и выбрасывал из невода бьющуюся рыбу. Неподалеку от него раздували костер.

– Так что ты говорил про брата? – с мстительной усмешкой Стадухин спросил Пашку, поровшего жирных гольцов.

Смахивая плечом комаров с лица и не поднимая глаз, тот заученно проговорил:

– «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя».

Атаман хмыкнул в усы, скаречно проворчал:

– Грамотей! Ужо испекут черти язык твой на сковороде!

Сытые согрешившие казаки ласково поглядывали на атамана, но виниться за обиды в пути стыдились. Стадухин с хмурым лицом велел вытянуть коч на сушу и бросить жребий на караулы. Пантелею Пенде выпало стоять первым. Изнуренные многодневной сыростью, люди сушились и наслаждались теплом. Спать укладывались тут же, возле огня. Лежа на теплой, прогретой земле, Михей закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному плеску, растекаясь духом по земле и воде. Злобы не было, души спутников томились тоской и раскаяньем. В округе тоже не чувствовалось ничего враждебного.

Проснулся атаман от оклика, приподнялся на локте. Старый промышленный указывал в сторону моря. Михей встал босыми ногами на меховое одеяло. Вода в реке была темной, осенней, тихой. В отдалении сипло тьявкали песец, над станом с шумом пролетела какая-то птица. Океан был рядом, светилась его полоска за устьем губы, там чернела точка и как неуклюжий клещ шевелила лапками весел. Похоже, сюда же шел коч Дмитрия Зыряна.

Михей подбросил дров на угли, сверху накидал зеленых веток ивняка, вскарабкался на груды выброшенных рекой деревьев. От разгоравшегося костра густыми клубами повалил дым. С коча заметили сигнал, выстрелили из пищали. Судно долго боролось с отливом, но шестами и веслами его подогнали к стану. Голодные продрогшие люди бросились к костру.

– Какая рыба? – жалостливо всхлипнул Мотора на вопрос об остатках припаса. – Хотели войти в речку, только милостью Божьей да по молитвам снялись с мели.

Теплый ночлег и обильная еда помирили даже атаманов. Караульные поделили время надвое. Все стали отсыпаться и отъедаться. Стадухин каждый день ходил к морю, высматривая дальнейший путь. Сделав запас кормов, атаманы со старыми казаками отправились в устье губы вместе: дул встречный ветер, сквозь тучи мутно светило солнце, путь на восток был забит льдом. Обточенные волнами лепешки с нудным скрежетом терлись друг о друга, подступая к самой губе.

– Прогневили Господа! – чертыхнулся Зырян. Он входил в свое обыденное озлобление от того, что время шло, а они стояли на месте. – Хоть поворачивай вспять!

– А вдруг опять переменится ветер? – все еще выискивая глазами проходные разводья, пробормотал Михей.

– Подь ты со своей Колымой! – выругался Зырян, бросив взгляд за стадухинское плечо на Семена Мотору. – Пойдем в верховья, там лес, вдруг чего сыщем.

– Иди! – не оборачиваясь, пробубнил Михей с озабоченным лицом. – Бог – судья! А я подожду. В десять стволов и сабель большой народ под государеву руку не подвести, зато могу открыть новую реку. – Подумав, окликнул Мотору: – Семейка! Мы с тобой на Витим ходили, на Алдане воевали, может, останешься?

Старый ленский казак взглянул на Михея с пустой, натянутой улыбкой, потом на льды, почмокал нависшей губой с редкими усами и отмолчался. Стрелец Беяна с окаменевшим лицом повернулся к нему спиной.

До Семенова дня оставалось две недели, уже чувствовалось приближение недолгой северной осени, которая быстро переходит в зиму: ярче желтела тундра, сбивалась в стаи, встала на крыло перелинявшая водоплавающая птица, кружили журавли, выпал и растаял снег.

Снегопад не был в диковинку даже в июле, но если Стадухин еще надеялся добраться до Колымы, то добрая половина его отряда думала иначе. Казаки торопились найти места, богатые соболем, груды плавника по берегам были порукой, что в верховьях есть лес. Где лес – там соболь. В тундре водились только песцы, шкуры которых скупались торговыми людьми за бесценно.

Снова чувствуя на себе недобрые вопрошающие взгляды спутников, атаман объявил:

– Будем строить зимовье из плавника, не нам, так другим сгодится, и будут благодарить нас перед Господом, а Он наградит. Вдруг сами вернемся, если не дойдем до Колымы.

Казаки согласились, что зимовье в этом месте никому не повредит, и им тоже. Сообща выбрали сухую возвышенность и заложили избу. Она была поставлена и обнесена частоколом за неделю. Ветер не менялся, льды не разносило. В середине второй седмицы, когда взялись устраивать лабаз и баню, к зимовью на плоту приплыли Мотора с Беяной.

– Здесь Колыма, братцы! – закричали, не успев перевести дух. – Поширше Индигирки, поуже Лены. А эта – одна из протоков ее дельты.

Сидя в избе возле очага, посыльные рассказали, что когда тянули бечевой коч, из тундры выскочили мужики, похожие на чукчей: в костяных и деревянных латах, с тяжелыми луками. Зырян с Моторой дали залп картечью, пятерых сбили с ног, но не убили. Казаки и промышленные не заметили в напавших страха от грохота и дыма. И уходили они, явно заманивая за собой в болота. Готовые ко всяким хитростям, люди Зыряна преследовать их не стали, но дошли до самой реки с устьем полноводного притока по правому берегу. Зырян отправил в его верховья ертаулов. Они вернулись, выбитые немирными мужиками, сказали, что, наткнувшись на селение, видели юрты, крытые мхом и кожами, вроде якутских, много собак и оленей. Какие народы живут, не узнали, но заметили на краю селения избу с бойницами, вроде нашего зимовья. Зырян со слов ертаулов понял, что своими силами селение под государя не подвести,

послал казаков к Стадухину за обещанной помощью, велел сказать, что Колыма-река здесь, дальше плыть не надо.

Весть эта была принята с радостью, потому что по берегам протоки появились забереги, мели стали покрываться льдом. Уже и сам беспокойный атаман, поглядывая в устье губы, тоскливо помалкивал. А то, что до холодов поставили зимовье с частоколом, было удачей.

– Не откажем в помощи, братцы? – повеселев, обратился к спутникам Стадухин. – Вдруг и сами чего добудем!

Казаки решили оставить в зимовье Пантелея Пенду и Вторя Гаврилова, а Чуноу взять толмачом. Бежать ламуту было некуда, в аманатах у казаков жить лучше, чем в рабах у колымских мужиков. На ламута давно не надевали колодок и относились как к равному, а он уже изрядно говорил по-русски.

Отряд из десятка казаков отправился в верховья реки пешком по проложенному бечевнику и в три дня добрался до зыряновского стана. За время, которое здесь ждали подмоги, появилось подозрение, что беглых алазейцев приютило то самое селение колымских людей. Казачий десятник держал при себе одного из индигирских аманатов, оставленных сородичами. Он не меньше казаков возмущался, что брошен родственниками, и надеялся отыскать их здесь.

Соединившись в один, два отряда, двинулись вверх по восточному притоку. Устье его было равнинным, покрытым редким низкорослым лиственничным лесом. Вдали синели горы. В верховьях притока обрывистые берега становились все выше, с них свисали к воде подмытые течением, падающие деревья в три сажени и больше. Если бы Зырян велел тянуть за собой кочили или струги, бурлакам пришлось бы туго. Но люди шли налегке.

Отряд был замечен на подходе к селению, встречен парой нестройных ружейных выстрелов, градом стрел из бойниц крепости.

– Вот те раз! – выругался Зырян. Скрываясь за деревьями, он подбежал к Стадухину. – При ружьях! Какою-то промысловую ватажку побили.

– Знакомы с огненным боем! – Михай пытливо взглянул на связчика. Митька тоже был обеспокоен тем, что они здесь не первые из русских людей.

– Наверное, какую-то промысловую ватажку пограбили! – неуверенно пробормотал десятник. – А мой аманат не ошибся, воочию узнал среди мужиков своих беглых родственников. – Вскинул на Михея приуженные глаза: – Как брать будем?

– С налета умоют кровью! – поцокал языком Стадухин. – Придется защиту рубить.

В два десятка топоров казаки и промышленные навалили реденькую засеку на краю перелеска, укрылись за ней. Из расщепленных лиственничных стволов сделали щит на полозьях. Наблюдая за их работой, из бойниц время от времени неумело постреливали из пищалей и прицельно пускали боевые стрелы. Уже вблизи крепости, когда стало ясно, что осажленным не удержаться, часть защитников бросилась в заросли берегового кустарника, другие вышли, показывая пальцами на язык. Зырян выскочил из-за щита и в запале стал хлестать двух мужиков батоном.

– Вон аж куда прибежали! – удивленно проворчал под ухом Стадухина Семен Мотора.

Приступ обошелся без большой крови, и этим обе стороны были довольны. Беглые юкагиры дали соболей за прошлый год вдвое против прежнего. Зырян потребовал от них вместо брошенного аманата – тойона Шенкодю. С колымских мужиков казаки тоже взяли заложника. Посоветавшись между собой, колымцы выдали сына своего тойона Порочи и сотню соболей. На том распря была закончена. Клятв на верность государю и вечное холопство ни с тех, ни с других не брали.

Пока Зырян выспрашивал колымцев и беглых юкагиров, откуда у них ружья и как называется река, на которой стоит селение, Михай с двумя казаками пошел по юртам, брошенным детьми и стариками, поискать вещи и следы пропавшей промысловой ватаги. А пропадало их за Леной много.

Жилье было бедным. Если какие-то семьи имели железные котлы, то женщины и старики прихватили их, как и все ценное. В двух юртах нашлись половики, сшитые из собольих спинок, казаки забрали их как погромную добычу. В третьей пришельцев приветливо встретила молодая женщина, в ней нетрудно было узнать рабыню.

Язык у колымцев был свой, Чуна их не понимал. Мишка Коновал поманил женщину за собой, она поняла его и увязалась, как прикормленная собачонка. Михай Стадухин тайком бросал взгляды на круглое узкоглазое лицо и с удивлением находил в нем сходство с Ариной. «Бес прельщает!» – думал. Втайне раз и другой перекрестился. Но глаза его сами по себе отыскивали женщину.

Возле последней юрты повизгивал медвежонок, привязанный к пню волосяной веревкой. Рядом с ним валялись иссохшие рыбы хвосты. Петля натерла на шее зверя кровавую рану и причиняла ему боль. Стадухин подошел, наклонился, заглянул в маленькие затравленные глазки зверя, протянул руку. Медвежонок заурчал, словно жаловался, но не отпрянул, не укусил. Вспомнились Илим, Кута и Лена, медведь, крутившийся возле него с Ариной в самые счастливые ночи.

– Видать, на днях забьют! – буркнул Коновал. – А на кой? Здесь лосей много. Да здоровущие!

– Нельзя есть тварь с когтями. Бог не велит! – с обычной важностью изрек Пашка Левонтьев и пригладил отросшую бороду.

– Будто не ел печеных лап? – неприязненно огрызнулся Коновал.

– Грешен! – не смутившись, ответил казак. – Но после каялся!

– И волосы подрезать в круг грех, и бороду равнять! – не впервой напомнил Коновал.

– Грех! – степенно согласился Пашка. – А Никола Угодник на иконах отчего такой? Тоже грешен?

Стадухин мысленно чертыхнулся неуместному спору. Пашка был хорошим казаком: работающим, нескандальным, нежадным. Презирая власть как величайший христианский грех, не пытался верховодить и перед начальствующими не гнул, но был поперечен, как Зырян. Михай не помнил, чтобы его за это колотили, разве смеялись, подтрунивали, злословили, так как он ни на чем не настаивал, считая, что если высказал свое – нет на нем общего греха.

Не поднимая головы, Стадухин снял веревку с окровавленной шеи медвежонка и перевязал ее под лапы. Зверек будто понял человека и послушно пошел за ним.

А возле захваченной крепости казаки и промышленные затевали спор. Издали слова их были неразборчивы, но по голосам можно было догадаться, что спорили из-за добычи. К Стадухину бросился Федька Катаев с кровавой коростой на щеке.

– Митька как все поворачивает? – слезливо закричал без обычного кудахтанья. – Все добытое на погроме им, а нам кукиш? За что кровь проливали? – Болезненно сморщился, щупая подсыхавшую коросту.

– О чем спор? – раздувая ноздри, стал напирать на Зыряна Стадухин. Медвежонок, почуяв недоброе, терся о его ногу.

– Алазейские юагиры – наши? – закричал Митька, сверкая глазами.

– Уймись! – громко оборвал его Мишка Коновал. – Возле коча поспорим, не здесь!

Стадухин метнул на Зыряна злобный взгляд, шмыгнув носом и сипло спросил:

– Крепостицу жечь будем?

– Зачем жечь? – опять беспричинно раскричался Зырян, еще не остыв от спора. – Раскатаем по бревнам на плоты.

Казаки и промышленные разобрали укрепление, связали бревна, поплыли по Анюю с ясаком, аманатами, с погромной женкой Калибой и медвежонком. Колымские мужики не возмущались, что у них уводили рабыню и зверя: радовались, что не увели собак. А спор между

стадухинскими и зыряновскими служилыми продолжался из-за анюйского аманата – кому под него брать ясак?

Плот Зыряна обошел остров в устье Анюя и беспрепятственно поплыл по Колыме. Плот со стадухинскими людьми попал в водоворот. Справа яр, вода глубока, шестами до дна не достать и не угрести, а весел не тесали. Плот пронесло мимо берега, завернуло и повлекло против основного течения реки к прежнему месту. Казаки плескали шестами и ничего не могли поделывать, в то время как с Митькиного плота доносились дружный хохот и язвительные советы – хватать водяного за бороду.

Стадухин лег на живот, стал осматривать глубину. Вода была чиста и прозрачна. По песчаному дну ходили большие рыбины, другого не было видно. Пашка, задрал бороду, по памяти читал молебен Николе Чудотворцу, Мишка Коновал хлестал шестом по воде и матерно ругал водяного. Неизвестно, что помогло, но плот, сделав три круга, сам по себе освободился и подошел к зыряновскому кочу. Оставленный на реке без охраны, он стоял среди зарослей ивняка, сбегавших по отмели. На одну из них были вытянуты плоты. Михей вышел на берег и отпустил медвежонка. Зверек не убежал от людей. Атаман огляделся.

Розовела вечерняя гладь воды, вдали синели горы. На противоположном берегу стоял лиственничный лес. К добру ли, к худу, на самой высокой верхушке сидел тундровый ворон величиной с гуся и пристально наблюдал за прибывшими.

– Там острог надо ставить! – сказал вдруг Стадухин, указывая на лес и ворона.

Казалось бы, ничего обидного не промолвил, но зыряновские казаки и промышленные загалдели. Вдали от инородцев Митька опять вспылел, дав волю обуревавшему его негодованию.

– Ты кто такой, чтобы указывать? – пронзительно закричал, надвигаясь на Стадухина левым плечом. – На кой ляд ставил зимовье на протоке?

Увидев здешние места в лучах закатного солнца, стадухинские казаки взглядами и вздохами мягко корили атамана за то, что обосновались не там, где надо.

– Просидели бы у костров, погоды ожидаючи, – оправдался он. – А мы избу срубили. Царь-государь за труды наградит и воеводы пожалуют...

– Пожалуют! Батогами в полтора аршина...

Мало того что свои люди беспричинно бередили душу, еще и Зырян сыпал соль на рану. Зима на носу, а его ватажка не имела крова над головой, только собиралась рубить зимовье. Вместо того чтобы просить помощи, соперник орал непотребное, самому непонятное.

– Вот и руби, где знаешь! – выругался Стадухин, намекая, что будет зимовать у себя.

– Это мы еще поглядим, – с вызовом отбрехивался Митька, уже не за правду, а по вредности. – Мы с ясаком и аманатами пойдем дальше к лесу. Алазейские мужики говорили – на Колыме много всякого зверя!

– Иди-иди! – отбрехивался Стадухин, понимая, что бессмысленная брань – только предтеча главного спора. – Половину ясака с анюйцев и аманата от них оставь мне!

– Вот тебе! – вскрикнул Зырян, выставив дулю.

Стадухин саданул его кулаком в грудь. Митька отступил на шаг, замотал головой, с дурными глазами схватился за саблю, но выхватить из ножен не успел.

– На кулачках... Божий суд! – закричали служилые и промышленные двух ватажек, хватая его за руки. – До первой крови!

Атаманы побросали на землю оружие, стали кружить друг против друга, нанося удары по плечам и по груди, пока Зырян не плюнул кровью и не опустил руки. Покрутив языком во рту, вытащил зуб.

– Не бил по морде, – оправдываясь, вскрикнул Стадухин. – Сам язык прикусил.

– Зуб у тебя еще в море шатался! – насупленно пробубнил Мотора.

Драка между казаками была не первой. Митька не испугался, но как-то разом успокоился и шепеляво, с насмешкой сказал, обращаясь к своим промышленным:

– Бес ему правит! – И сплюнул еще раз, мирясь с поражением.

Ясак с беглых алазейских юкагиров за прошлый и нынешний годы он взял на себя. По новому уговору после кулачного поединка ясак с колымского рода два отряда делили поровну, и еще взятые на погроме три пищали, два собольих половика, ясырку и медвежонка. Сын колымского князца Порочи остался у Стадухина: Беяна с Моторой убедили Зыряна, что нового аманата лучше держать в зимовье, а не таскать за собой вместе с алазейским.

О Калибе спора не было, Михей не ввязывался, хотя втайне желал, чтобы девка осталась в его зимовье. И когда Коновал спросил, согласен ли, что Зыряну достанутся две погромные пищали, а им одна и девка, Стадухин молча кивнул. Про медвежонка не вспомнили, и он вслух посочувствовал зверьку:

– Шел бы к родне!

Наблюдавший казачьи распри Чуна растянул в улыбке тонкие губы:

– Куда ему идти? Он должен зимовать с матерью, а ее убили. Строить медвежий дом его уже никто не научит. Для него лучше – если убьют и съедят... Был медведем – будет человеком!

Осенние ночи стали темны. Утрами воздух был чист. Над тундрой еще звучал тревожный журавлиный крик. Со свистом рассекая воздух крыльями, неслись и неслись куда-то стаи птиц. На верхушках окрестных сопок лежал снег, вода в заводях покрывалась корочками льда. У ног Стадухина розовела та самая неведомая другим река, которую он искал, о которой много думал в прежней жизни, а на душе было муторно: при множестве немирных народов отряды глупо разъединялись. Вскоре протока покрылась морщинистым льдом, который, местами тянулся от одного берега к другому, мох стал хрусток, а заиленный берег тверд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.